
Лейля
Каримова
Проснись,
Илькенэй!
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"







Лейля Каримова

•

Проснись, Илькенэй!

Повесть

Литературная запись

А. Волкова

Рисунки

Р. Агишева

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1968

С(Башк)2
К 23

Автор этой книги Лейля Каримова (Шамсибана́т Нигмаджа́новна Каримова) — старая коммунистка, человек большой судьбы, наполненной многими событиями. О своем далеком детстве, горьком и светлом одновременно, рассказывает она в повести «Проснись, Илькенэй!».

Юный читатель познакомится со своими сверстниками из дореволюционного приуральского городка, встретится с революционерами-подпольщиками, узнает, как юные герои помогали своим отцам в их борьбе за свободу и счастье народа.

7—6—3



ИЛЬКЕНЭЙ

Ночью над слободой прошумела весенняя гроза. Солнце только всходило, когда из избы Нигме́та Ахме́тшина с коромыслом на плече выбежала скуластая, темноглазая девчушка. Из-под розового залатанного платьица выглядывали длинные, по самую щиколотку, красные штанишки. Девочка зачарованно посмотрела на огненный шар, медленно всплывающий над степью. Потом — на лужу. Увидев там свое отражение, улыбнулась, тряхнула головой — в косичках звякнули жестяные монеты — и побежала к реке, с ловкостью козочки перепрыгивая через лужи.

Последняя избушка слободы стояла над самой рекой. Девочка остановилась у обрыва. Навесив над глазами ладошку, смотрела вдаль, туда, где возвышались горы.

— Здравствуй! — прошептала девочка.

Но никого вокруг не было. Ни здесь, ни на той стороне.

— Здравствуй, Ильконэ́й! — повторила она, обращаясь к горе Юрэ́к-та́у.

Гора эта была когда-то девушкой и звали ее Илькенэй. Она делала добро людям, а потом надолго заснула и превратилась в гору. На ее вершине до поздней весны лежит снег... Нет, не снег — это меховая шапочка Илькенэй. А сама девушка-гора в этот утренний час еще укутана по грудь бело-сизым одеялом из плотного тумана. Над ее вершиной кружат орлы. Они охраняют сон Илькенэй... Ах, как ей, Шамсий, хотелось бы тоже поспать еще! Но мама ушла на работу, и надо нянчить братишку, Галимзя́на. А пока он спит — натаскать тетке Марфе воды...

С каждой минутой солнце поднимается все выше и выше — все ниже спадает с Юрэк-тау одеяло, и девочка уже видит изумрудно-лазоревый наряд Илькенэй — это леса, покрывающие склоны горы.

— Какое красивое платье у тебя, Илькенэй! — восхищенно шепчет девочка...

А вдали от Юрэк-тау возвышается гора Шиха́н-та́у.

И Шихан-тау когда-то была не горой, а джигитом. Джигит полюбил Илькенэй, но родовые распри помешали им пожениться. Джигит не покинул девушку и с тех пор издали охраняет ее сон и покой.

— Проснись, Илькенэй! — просит девочка.— У меня нет бешме́та. А платье, видишь, совсем старое. У Сали́ха... Ты не знаешь его? Это мой брат. У него тоже нет бешмета... Помоги нам, Илькенэй!..

Гвзиза́-апа́, мать девочки, рассказывала: как только проснутся девушка-гора и джигит, богатырь Шихан-тау, обязательно помогут беднякам. И все у них будет: и сытная салма́ [1] со шкварками, и бешметы.

Девочка смотрит на горы. В ее широко открытых глазах мольба...

* * *

Этой девочкой была я.

Мое детство и юность прошли в одном из городов Башкирии, у отрогов Южного Урала.

---

[1] Салма — у татар и башкир суп с клецками или крупно нарезанной лапшой.

Давно, очень давно это было, но и теперь, как наяву, вижу городскую окраину — нашу слободу Та́у-баши́. Ее землянки, мазанки, халупы из гнилых досок и горбылей, где ютилась беднота — русские, татары, башкиры, чуваши, мордва, марийцы, или, как их раньше называли, черемисы.

Вижу себя босоногой девчушкой, стоящей на берегу реки с коромыслом на плече. Я очень верила в Илькенэй, девушку-гору. Мне так хотелось, чтобы она проснулась! Она должна была принести нам добро! Нашей слободе, всем беднякам. Недаром «Илькенэй» на русском языке означает «Родина».

Весной и летом ласковыми, добрыми казались Юрэктау и Шихан-тау. После короткого дождя радуга охватывала небо волшебной лентой. Я верила, что это джигит Шихан-тау дарит Илькенэй шарф...

Но страшны эти горы в зимнюю непогоду. Один взгляд на них вносит в душу смятение. Кажется, что поднялись разгневанные великаны. Смерчем несется с их вершин снежный ураган. С воем, грохотом обрушивается он на город, на нашу слободу... Гаси все огни в избе, особенно печку! А то вырвет из трубы пламя, и полетит по улице огненный вихрь.

Мое первое яркое впечатление детских лет — зимний ураган. С него я и начну рассказ о годах моего детства.

УРАГАН

Жжжии... ззз... ууу... грох-грох... шшшии...— воет за окном на все лады.

Шамсия, укрывшись бешметом и сжавшись в комочек, сидит на нарах. Салих с головой забрался под дерюгу. Газиза-апа прижала к груди маленького Галимзяна. Шепчет: «Аллах мой! Смилуйся... Не дай сорвать крышу. Пожалей детей...»

Шамсия смотрит во все глаза на мать. Хочет сказать: «Мама, громче! А то аллах не услышит...»

Жжжии... ззз... грох-грох... — злобствует ураган.

Шамсие он представляется седым, косматым чудовищем с длинными-предлинными ручищами. Слышно, как

он кряхтит, тужится: наверное, ухватился за угол и хочет опрокинуть избу. Но, видно, это ему не под силу, и он снова принимается за крышу. Рвет солому, подбирается к жердям. Сейчас сбросит крышу в Чертов овраг, и снег засыплет избу. Стужа превратит всех в ледышку. И ее, Шамсию, и Салиха, и маленького Галимзяна, и маму...

Жжжии... ууу...— завывает ураган.

Где же папа? Если дом занесет, без папы не откопаться. А у них нечего есть. Сегодня мама сварила салму из последней горсти муки. Нет ни кусочка хлеба, ни крошки сахару, чтобы приготовить Галимзяну кашицу. У мамы уже не хватает для него молока, и она подкармливает малыша жеваным хлебом с сахаром.

Отец еще с утра ушел в город раздобыть муки или крупы. Вот уже скоро вечер, а его все нет и нет. Может, застал его ураган? И может, папа, уже закоченевший, лежит в Чертовом овраге?..

От этих мыслей у Шамсии в ледяной комочек сжимается сердце.

Наконец ураган утих. Но что это? Кто это воет?

— Мамка, это волки, да? — спрашивает Салих, не высовывая головы из-под дерюги.

— Аллах с тобой! Какие волки? — говорит мать, кутая в бешмет Галимзяна.— Сосед Эптерэ́й гуляет. Напился хмельного, вот и воет по-волчьи.

Шамсия понимает: мама говорит так, чтобы успокоить Салиха. В прошлую зиму волчья стая ворвалась в один дом на окраине города и растерзала всю семью.

— Неправда! Неправда! — кричит Салих.— Волки!

— Ну конечно, мать не знает — когда воют волки, а когда гуляет Эптерэй! — сердито говорит Газиза-апа, а сама открывает подпол.— Идите спрячьтесь, а то придет — буянить будет.

В это время кто-то дергает дверь — раз, другой... В самом деле рвется Эптерэй! Шамсия забивается в угол. Но вот дверь распахивается, и вместе со снегом и клубами морозного воздуха вваливается отец — завьюженный с ног до головы.

— Папа! Папа пришел! — во всю мочь кричит Салих, соскакивает с нар, бросается к отцу.— Папа, слышал — волки!

— Ну, этих непрошеных гостей мы знаем, как встречать! — бодро отвечает папа, стряхивая с себя снег у порога.

Но Шамсия улавливает в его голосе тревожную нотку.

— Отец, в подпол надо ребятишек,— говорит мать.

Вой все ближе, все слышнее. Уже различаются отдельные голоса: то будто глухой, отрывистый собачий лай, то протяжный, с подвывом, так и хватает за душу!

Нигме́т-ага́й подходит к подполу.

— Лезь, мать. Я подам тебе Галимзяна.

Вслед за матерью спускается в подпол Шамсия. Ее сразу охватывает сырость. Отец прикрывает лаз крышкой. Салих остается в избе: с отцом он ничего не боится!

В окнах кое-где вместо стекол натянуты бычьи пузыри. Волкам ничего не стоит разодрать их когтями.

Вой все ближе и ближе. Нигмет-агай, взяв топор, кричит Салиху:

— Снимай доски с нар!

Мальчик хватает одну за другой доски, подает отцу. Нигмет-агай, не выпуская топора, загораживает окна. Доски уже все, а два окна остались еще не закрытыми.

— Держи! — Отец сует в руки Салиха кистень.— Вставай к этому...— а сам с топором встает у другого окна.

У Салиха струной натянута каждая жилка. Ему кажется, что он стоит уже долго-долго. Мальчик не спускает глаз с серого прямоугольника окна. Вдруг он видит, как сквозь тусклое пятно бычьего пузыря просовывается голова. Из оскаленной пасти вывалился красный язык, торчат клыки... Глаза Салиха сами собой зажмуриваются. А когда он открывает их, голова исчезает. Ну конечно же, ему почудилось! Вон и пузырь в окне совсем целый. А вой слышится где-то уже далеко-далеко, за слободой.

— Ушли, проклятые! — шумно выдыхает отец.

Салих почувствовал, как все в нем обмякло, опустилось. А кистень такой тяжелый, что непонятно, как он держал его.

Отец зажег лампу. Открыл подпол.

— Выходите, пленники!

— Волки ушли, пап? — спрашивает Шамсия.

— Ушли, дочка, ушли. Да кто посмеет напасть на такого батыра? — Отец кивает на Салиха.— Его сам лев, царь зверей, побоится!

Салих улыбается. Хотя он понимает, что отец шутит, но все же приятно, когда о тебе говорят доброе. Тем более, сам папа! Да он, Салих, и в самом деле храбрый! Хотя немножечко боялся, а все же далеко не ушел от окна.

— Ну, мать, вари салму. Детей корми, да и самим не худо подкрепиться,— говорит отец.

Салих хлопает в ладоши: «Салму варить! Салму варить!» Теперь, когда страх прошел, ему так захотелось есть, что кажется, он один сможет опорожнить целый каза́н[1].

Со всех ног Салих бросается к печке. Щиплет тесаком лучину от полешка. А Шамсия уже наливает в казан воду.

Газиза-апа развязывает сумку: в ней совсем немного муки. «Сейчас сварим, а завтра чем будем кормить детей?» — без голоса, одними глазами спрашивает она мужа.

«Да, завтра нечем...» — так же безмолвно отвечает Нигмет-агай.

Запустив руку в сумку, Газиза-апа бережно, как драгоценную россыпь, просеивает муку через пальцы. У Салиха текут слюнки. Мальчик не выдерживает, бросается к матери:

— Мам, дай чуточку!

Газиза-апа сыплет ему на ладонь щепотку муки. Салих слизывает и снова принимается за лучину. Скорее, скорее, так хочется есть!

И вот уже с веселым треском огонек скачет по дровам — с полешка на полешко, лижет золотым язычком то черное, закопченное дно казана, то бока его. Словно и огню не терпится отведать горячей, пахучей салмы!

Потом все сидят на нарах, поджав ноги калачиком. Хлебают салму из большой деревянной, когда-то расписанной лаковыми красками, а теперь облезлой миски.

---

[1] Казан — котел для варки пищи, вмазанный в печь.

Деревянная ложка Салиха так и снует. Ах, какая вкусная салма! А если со шкварками — язык проглотишь!

— Па-ап! Ты меня завтра разбуди. Вместе будем откапываться. Поди, с крышей завалило!

— Хорошо, сынок.

После сытной салмы глаза сами собой закрываются. Салих едва дождался, когда Шамсия убрала с нар посуду и сняла холщовую красную скатерть. В доме нет ни стола, ни кровати. Их заменяют нары. Ночью на них спят. Днем обедают. На них же работают — шьют, чинят мешки, плетут лапти...

Салих валится на нары, укрывается бешметом и тотчас засыпает. Шамсия моет посуду и тоже ложится.

Дети спят. А Нигмет-агай и Газиза-апа долго еще шепчутся на своей половине, отгороженной занавесом.

— Ох, отец! Зима только началась. Чем будем кормить детей?..

ЗАКИР

— Ну, джигит, вставай! — услышал Салих голос отца.

Вскочил, сунул ноги в материны валенки, накинул свой рваный бешмет, нахлобучил шапку.

Отец подошел к двери, навалился плечом.

— Пап, давай я помогу!

— Раз, два — взяли! — крикнул отец.

Дверь затрещала, заскрипела, и перед глазами Салиха встала белая снежная стена. Ого, сколько навалило!

Отец сделал в снегу углубление, похожее на печурку.

— Лезь и пробивайся вверх.

Салих заткнул за пояс лопатку с коротким черенком. Нырнул в печурку и начал, как крот землю, подгребать под себя снег. А сверху, кажется, кто-то пробивается ему навстречу.

— Э-гей! Кто там?!

— Салих, ты? Сиди, не двигайся, а то зашибу!

Салих узнал голос двоюродного брата Закира. Шорох снега, стук деревянной лопаты все ближе и ближе.

— Стой, Закир, я теперь сам!..

Салих уперся головой в потолок снежной печурки,

напрягся и вынырнул из сугроба, как из воды. Яркий солнечный свет ударил ему в глаза. Салих невольно зажмурился. А когда открыл, перед ним стоял Закир, в лихо заломленной ушанке, в полушубке. За поясом — рукавицы, в руках — лопата.

— Здоро́во, батыр! — сказал он, подавая Салиху руку.— Жив, значит?

— Все в порядке!

Салих посмотрел вокруг: слободы словно и не было. Лишь кое-где торчали над снегом трубы... Вдали, вся сверкая алмазами и переливаясь жемчугом, стояла в своем сказочном убранстве Юрэк-тау, гора-девушка. А еще дальше — голубой Шихан-тау.

— А я уж думал, ты со страху душу аллаху отдал! — улыбнулся Закир.— Иди посмотри, какие гости к вам приходили.

Они подошли к коньку крыши. Салих увидел на снегу отпечатки огромных волчьих лап. Вот бы ворвались в дом!

— Ну, давай откапываться,— сказал Закир.

Скоро на помощь им выбрался и Нигмет-агай. Откопали окна, расчистили ход в дом.

— Спасибо, племянник, за подмогу,— поблагодарил Закира Нигмет-агай.— Пойдем, тетя твоя покормит нас горячей картошкой...

Газиза-апа постелила на нары красную холщовую скатерть, поставила деревянную чашку с картошкой в мундире, дымившейся пахучим парком. Положила горячую лепешку, испеченную из остатка вчерашней муки.

Нигмет-агай о чем-то долго думал.

— Закир! — наконец сказал он.— Не буду от тебя скрывать: мы люди свои.— Он кивнул на лепешку.— Это последнее. Ни крошки больше не осталось. Знаю, и у твоей матери, моей сестры Фирюзы́, то же самое. Как быть? Мужской работы в городе нет: вчера весь день искал. Надо идти к портным-шубникам за отходами, за овчинными лоскутами. Настрижем с них шерсти, будем валять стельки для валенок. Иначе пропадем...

Закир вспомнил, как вчера мать испекла по лепешке из просяной муки — ему и сестренке Зульфие́. А сама поела холодной картошки. А ведь она больная! Он, Закир,

единственный мужчина в доме. И хотя ему всего лишь пятнадцать лет, в ответе он и за мать, и за пятилетнюю сестренку Зульфию.

— Пойдем, абзы́й! [1]

ВОЛЧИЦА

На другой день утром дядя и племянник собрались в путь.

Нигмет-агай в дубленом полушубке, опоясанном широким кушаком, в белых подшитых валенках. На шее вместо шарфа какая-то тряпка. За кушаком топор, на случай встречи со зверем или недобрым человеком.

Закир тоже в полушубке, сплошь латанном, оставшемся еще от отца. В заячьем облезлом треухе. За поясом — кистень, за голенищем валенка тесак. Салих не сводит с брата восхищенных глаз: настоящий батыр!

И в самом деле, несмотря на бедную одежду, Закир очень красив. Высокий, плечистый. Смуглое лицо будто чеканное. Над живыми темными глазами почти прямая, сомкнувшаяся на переносице линия черных бровей.

Салиху ужасно хочется пойти с отцом, и перед его глазами, как наяву, встает картина этого похода. Вот они шагают втроем по зимней степной дороге. Входят в лес. Тут на них нападают разбойники. Разбойников целая шайка, а их только трое: он, Закир и отец. Салих выхватывает из-за голенища отточенный до блеска тесак. Взмах — и разбойник валится в снег. Ловко сражается и Закир. Но вот на него нападают сразу трое. Салих рванулся на помощь. Молнией сверкнул его меч — рассеченный надвое разбойник падает. А тем временем Закир наносит кистенем удар второму, третьему. Побросав ножи и кистени, разбойники в страхе убегают. А они — Салих, Закир и папа — идут дальше...

Из мира грез Салиха выводит отец:

— Ну, сынок, будь молодцом! Матери помогай.—Он кивнул в угол на груду грязного белья, привезенного от заводчика Алепа́това.

---

[1] Абзый — дядя, родственник, вообще старший мужчина.

— Ладно...— протянул Салих и почувствовал, как к горлу подступил ком, защипало в уголках глаз. Так бывает всегда перед тем, как заплакать. И чтобы не разреветься, надо крепко-крепко сжать челюсти и посмотреть куда-нибудь далеко-далеко: так учил его Закир.

Салих стиснул зубы, уставился за окно, на Шихантау. Чья-то рука легла ему на плечо. Салих обернулся: Закир! Одобрительно улыбается.

— Молодец! Мы — мужчины. Джигиты!

После таких слов и вовсе неудобно плакать, и Салих еще крепче стискивает челюсти. А отец гладит по голове Шамсию, шепчет:

— Маме одной трудно. Помогай ей, моя умница. За братиком следи.

Он подходит к люльке, ласково глядит на Галимзяна, прощается с матерью, идет к двери.

— До свиданья, Газиза-апа,— говорит Закир и вслед за дядей шагает за порог.

Салих одним взмахом накидывает на плечи бешмет, сует ноги в валенки и без шапки выскакивает на улицу.

...Две человеческие фигурки темнеют на степной дороге. Они движутся туда, где в голубоватой дымке стоят горы.

Салих, не замечая холода, смотрит в степь. С каждым шагом фигурки уменьшаются и с каждой секундой все тоскливее становится на душе у Салиха. Вот фигурки превратились в два темных пятнышка, потом в точки и, наконец, совсем растворились в голубой дымке... Мальчик медленно бредет домой.

А дома мать затопила печь, и в казане уже белесым парком курится вода. Шамсия сортирует белье — цветное в одну сторону, белое в другую. Мать хлопочет возле большой кадки: замачивает белье.

— Салих,— говорит она,— оденься потеплее и иди готовь прорубь.

— А? Чего? — переспрашивает Салих; в глазах у него все еще маячат темные фигурки отца и Закира.

— Да ты что как в воду опущенный? — смеется Шамсия.— Тебе говорят, иди на реку, прорубь готовь. Завтра с утра полоскать будем.

— Завтра и прорублю: все равно за ночь замерзнет.

— Если чуточку замерзнет, не беда: тонкий лед нетрудно пробить. Иди, иди, сегодня прорубишь, завтра будет легче,— говорит Газиза-апа.

Салих ищет шапку. Подпоясывает бешмет веревкой, чтоб не задувал ветер. Берет старые отцовы рукавицы.

— Смотри, пешню не утопи. Да сам под лед не нырни,— говорит мать.

Эти слова Салих пропускает мимо ушей: поди, не впервой! Лихо заламывает шапку. Берет в сенях пешню, лопату и направляется к Альке-черемису. У него мать тоже стирает. На лавочника Кашфи.

— Вот здо́рово! — обрадовался Алька.— И мне мамка велела! Я сейчас, мигом!

Ни у самого Альки, ни у его матери нет валенок. Алька обувает лапти, набрасывает шубейку:

— Айда!

Кипит, клокочет вода в казане. Газиза-апа стирает в большом корыте простыни, скатерти, покрывала. Шамсия — в маленьком — платки, наволочки, полотенца. Ее ручонки двигаются ловко и быстро, взбивая легкую, белую пену. Скуластое, матово-смуглое личико стало розовым.

Газиза-апа время от времени бросает взгляд на дочь — радуется. Одиннадцатый годок, а уже добрая помощница. А вот Салих часто ленится. И озорник, проказник. Хотя что с малого взять? Девять лет всего лишь...

Трещат, стреляют дрова в печи. Огонь, как голодный пес, яростно кусает чугунные бока казана. Кипит, клокочет в котле вода. Изба наполняется паром. Пот льет с лица Шамсии. Мокрое платье прилипает к телу: будто кто-то окатил ее с головы до ног горячей водой. Трудно дышать, голова кружится, вот-вот упадешь. Щёлок разъедает руки. На большом пальце левой руки багрово-красное пятно. Оно так жжет, будто кто-то приложил к пальцу раскаленный железный прут. Шамсия выпрямляется над корытом, чтобы перевести дух. За окном уже сгущаются сумерки.

— Мама! А где теперь наш папа с Закиром? Скоро уже ночь.

— Наверное, подходят к Петровке,— говорит Газиза-апа. А сама думает: найдут ли портных? Ведь они бродят из деревни в деревню, из одного двора в другой. Сошьют шубу или полушубок, идут дальше. Как жить, чем кормить детей, если не принесут лоскутов?

Вернулся Салих. Заиндевелый, раскрасневшийся. Скидывает шапку, бешмет.

— Готова ваша прорубь! Мам! — положил в рот палец.

— Потерпи, сынок. Сейчас схожу к Марфе. Попрошу под летнюю работу муки. Может, и картошки даст...

Нигмет-агай и Закир устало бредут по дороге. Кругом на многие версты степь и степь. Лишь далеко-далеко на горизонте проступает сквозь дымку какой-то лесок. Они побывали уже в трех деревнях, но в их мешках нет еще ни одного клочка овчины, ни одного лоскута.

Дорога то взбегает на холм, то опускается в низину. И кажется, нет ни конца ни края этим холмам и лощинам. Ноги не слушаются, будто на них повесили пудовые гири. На подошвах валенок корки льда. Нигмет-агай останавливает Закира. Сбивает обухом топора лед с валенок.

— Кстати, давай и перекусим, а то не дойдем,— говорит Нигмет. Достает из мешка краюшку черного хлеба, пытается отломить от нее кусок Закиру. Но мороз словно превратил ее в чугунную болванку. Нигмет-агай кладет краюшку на дорогу, разрубает топором. Дает половину племяннику, и они идут дальше.

Зубы не могут откусить даже крошки. Закир сосет хлеб.

Уже смеркается. Солнце так быстро садится, что засветло до деревни им не добраться.

— Чу!..— Закир остановил дядю.

Слышится вой не то собак, не то волков. Но вот снова все стихло. Лишь повизгивает под валенками снег.

Солнце село. Одна за другой вспыхивают в холодном небе, как речные зеленые камушки, звезды. Бегущие по



Это была волчиха, длинная, поджарая, с волчонком, очевидно раненным.

небу тучи гасят их. Но секунда-другая, и они снова вспыхивают зеленым холодным светом. А кругом бесконечная снежная пустыня. Ни огонька, ни звука. Лишь две темные человеческие фигурки, как две песчинки, в этом безбрежном снежном море: некого позвать на помощь, если случится беда.

Мороз крепчает...

Воздух, кажется, превращается в лед, его не хватает для дыхания. Два уставших, обессилевших человека идут теперь рядом, плечо к плечу: поскользнется один, его поддерживает другой. А кругом холодное безмолвие. Лишь время от времени его пронизывает волчий вой.

Закир схватил за локоть дядю:

— Нигмет-абзый! Смотри!

На дороге, в нескольких шагах от них, прорисовывается какой-то силуэт. Что это? Может, человек выбился из сил, присел отдохнуть да так и замерз?.. Нет, шевелится. Как на грех, скрылась луна. А когда она выглянула из-за тучи и залила степь зеленовато-синим светом, Нигмет-агай воскликнул:

— Волки! Да они, никак, растерзали кого-то!

И про себя подумал: «Дела плохи. Если волки еще не обожрались, ни за что не уйдут. Что же делать? Обойти? А вдруг потеряешь дорогу, выбьешься из сил, тогда верная гибель! В одну минуту замерзнешь... Нет, дорогу терять никак нельзя! Нас двое, и их, кажется, двое: пусть они уйдут с дороги».

— Геть, геть, паршивцы! — выхватив из-за пояса топор, хриплым голосом кричит Нигмет. Делает несколько шагов вперед, но хищники не движутся. Что же делать? Стоять нельзя: портянки в валенках влажные, мигом при таком морозе останешься без ног.

Закир видит, как растерянно топчется на месте дядя. Нет, милости у зверя выпрашивать не приходится. Зверь есть зверь. Ему дела нет, что там, в слободе, люди голодные. Закир выхватил правой рукой из-за голенища тесак, левой — из-за пояса кистень. Мальчонкой в драках он одинаково ловко умел наносить удары и правой и левой.

— А ну, дорогу! Дорогу! — закричал он и бросился на хищников.

Нигмет, вскинув над головой топор, побежал вслед за ним...

Это была волчиха, длинная, поджарая, с волчонком, очевидно раненным. Увидев людей, она лязгнула зубами, схватила за холку волчонка и поволокла в степь. Сначала медленно, потом быстрей. За ней тянулась какая-то прерывистая ниточка. А там, где она отдыхала, зализывая рану волчонку, темнела маленькая воронка.

— Кровь! — догадался Нигмет-агай. — Осторожно! Не наступи. А то в деревне собаки вместо волков нас раздерут.

Волчиха уходила дальше и дальше в степь. Но вот остановилась. Положила на снег волчонка. Послышался жалобный вой. У Закира защемило сердце.

— Чего это она, Нигмет-абзый?

— Плачет... Сдох, наверно, ее волчонок,— ответил Нигмет, засовывая за кушак топор.— Всякая тварь жалеет свое дитя.— И добавил: — Теперь смело можно идти: ей не до нас. У нас свое горе, у нее свое...

ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК

Впереди замигали огни деревни. Вот и околица. Нигмет-агай и Закир подошли к крайней избе, занесенной по наличники снегом: видно, и тут погуляла вьюга.

Нигмет-агай постучал по наличнику. Скрипнула дверь.

— Кто там? — послышался в сенях певучий женский голос.

— Эй, хозяйка! Где тут остановился портной из Алексеевки, дядя Петряй? — спросил Нигмет.

— Портной, говоришь? В том конце деревни, мил человек. У Ивана Кругляша. Третий дом от околицы! — И дверь звучно захлопнулась.

Деревня в один порядок. Тянется версты на две. Улицу перемело высоченными сугробами. Идти по ней труднее, чем по степи. А сил вовсе нет.

Нигмет опустился на завьюженное крыльцо. Сел и Закир. Вокруг ни души. Только рыскает бездомный, с

подбитой лапой пес. Подбежал к крыльцу, встал вполуоборот: сосчитаешь все ребра. Просяще уставился на Нигмета.

— Иди, иди, родимый. Нету ни крошки. Такие же, как ты, горемыки!

Закир пошарил в кармане полушубка. Нащупал промерзлую, твердую, как кость, корочку, подбросил. Пес взметнулся с раскрытой пастью, щелкнул зубами — и корки как не бывало.

— Все, больше нету.— Закир выворотил карманы.

Пес понял, благодарно махнул жидкой метелкой хвоста и бочком-бочком поковылял куда-то вдоль улицы.

— Ну и нам надо трогаться,— сказал Нигмет-агай.

Увязая в снегу по пояс, они идут по деревне. Уже редко где в окнах светится огонек.

Подошли к третьему от околицы дому. И в то же время ко двору подъехали розвальни, запряженные сказочным снежным конем: от челки до хвоста лошадь покрыта инеем.

Из саней вылез мужик. В тулупе, шапке-ушанке, валенках. И он казался не настоящим, а из какой-то сказки: голова, борода, усы, отвороты тулупа тоже все в инее.

— А, никак, знако́м! [1] — воскликнул он, дыша клубами пара, словно и впрямь волшебник.— По какому делу?

— К портному, дяде Петряю. Сказали, у тебя остановился.

— Верно сказали, да не совсем! — загадочно ответил «волшебник».— Был, да уехал. Только что вот с Орликом,— кивнул он на лошадь,— отвезли его в Коробовку.

Закир видел, как поник дядя. Приуныл и он, Закир: ведь они уже ни шагу не могут сделать, ноги так и подкашиваются.

«Волшебник» посмотрел на паренька: полушубок дырявый, валенки разбиты...

— Вот что, други хорошие, заходите-ка в дом. Обогрейтесь. Переночуете. А завтра в путь-дорогу. Утро вечера мудренее.

У Закира отлегло от души: пойди они сейчас в Коро-

[1] Знаком — искаженное «знакомый».

бовку, верная гибель — или на волков нарвались бы, или свалил бы мороз. Спасибо «волшебнику»!

Мужик постучал в дверь:

— Наталья! Хозяина встречай да гостей привечай!

В доме было так тепло, что Закиру казалось, какая-то печурка топится в нем самом и согревает все тело.

Хозяйка накрыла на стол. Подала большую жестяную миску горячих щей.

— Садись, знаком. Садись, парень,— сказал хозяин.

Теперь это был уже не волшебник, а просто русский дядька в длинной холщовой рубахе, подпоясанной фитильной тесьмой. Пышные пшеничные усы. Борода лопатой. Из-под мохнатых бровей смотрят добрые глаза.

После щей хозяйка подала миску с кислым молоком и теплые сковородные лепешки из муки простого помола.

— Ешь, ешь, не стесняйся. Досыта ешь, сынок,— то и дело приговаривала она, ласково поглядывая на Закира.

После ужина хозяин сказал:

— Лезьте на печь — обогревайтесь!

Что за чудо это — русская печь! Ложись навзничь, раскинь руки, протяни ноги — прогреет все до косточки, до жилочки!

Нигмет-агай блаженно вытягивается и чувствует, как в него входит тепло и разливается по всему телу. Закир отогрелся еще за столом, за щами. Но и ему приятно полежать на теплых, застланных попоной кирпичах. В Таубаши у них только железная печь, и в землянке, где они живут, всегда сыро. А тут благодать! Закир чувствует, как засыпает. Кажется, что он летит среди звездного неба и слышит голос «волшебника».

— Знаком, спишь?

— Нет еще.

— Что нового у вас в городе? Говорят, неспокойно. Будто бы солдат вызвали?

— Говорят, вызвали,—уклончиво ответил Нигмет-абзый. Закир насторожился.

— Да ты не бойся. Я же с чистой душой разговор веду,— взволнованно сказал хозяин.— Рабочий люд и наш брат, мужик, едино горб гнут... Говорят, люди какие-то новые объявились. Царя хотят прогнать.

— Кто его знает, может...— снова уклончиво ответил абзый.

Закир вспомнил, как недели две назад он зашел к дяде. При тусклом свете коптилки он увидел двух незнакомых людей. Не слободские. Наверное, из города. Как только вошел Закир, они начали торопливо прощаться. Закир даже не успел рассмотреть их лица. А утром к нему прибежал Салих и рассказал, что дядьки принесли какой-то сверток, отец его спрятал в подпол. Что в рогоже, Салих не знает. Дядьки что-то говорили про заводчика Алепатова, про лавочника Кашфи. А что, Салих не понял. Да к тому же он лежал на нарах, накрывшись с головой бешметом отца. «Ребята спят?»—спросил один дядька. «Спят»,— сказал отец.

«А я не спал... Знаешь, Закир, как только папа уйдет на работу и мама уйдет, я посмотрю в подполе, чего они там принесли. И потом тебе расскажу. Ладно?»

Закир сказал тогда любопытному и шустрому, как воробей, Салиху, что этого делать нельзя. Маленькие не должны вмешиваться в дела взрослых. А подглядывать и подслушивать вообще нехорошо.

«Да я не подслушивал... Я даже нарочно бешметом накрылся. Вот проглоти меня Аждаха́-дракон!» — поклялся Салих.

По тому, как неохотно отвечает Нигмет-абзый хозяину, Закир понял, что дядя наверняка связан каким-то общим делом с теми людьми, о которых рассказывал Салих.

Нигмет-абзый еще пятнадцатилетним пареньком, вот таким, как теперь он, Закир, работал с отцом на Урале. В шахтах, где добывали колчедан. Однажды в забое произошел обвал. Задавило двадцать девять рудокопов. Погиб и отец Нигмета.

Тогда рабочие устроили бунт. За «беспорядки» вместе со старшими арестовали и Нигмета и три года гоняли по каталажкам: то в Уфу, то в Оренбург, то в белебейскую тюрьму, то в стерлитамакскую, то в златоустовскую...

Хозяин пытался спросить у Нигмета что-то еще, но тот уже храпел. Скоро уснул и Закир.

УЗЕНЬ-РЕЧУШКА

— Ну, благополучной дороги тебе, знаком,— говорил хозяин, прощаясь утром с Нигметом.— Да смотри, ухо востро держи, как через Узе́нь будешь переходить! Я вчера чуть в полынью не угодил. Шибко обманная наша Узень-речушка!

— Спасибо тебе, добрый человек, за угощение, за ночлег,— поблагодарил Нигмет-агай.

— Не за что, не за что! Человеку помочь в беде — дело душевное. Ежели мы, простой народ, друг другу не поможем, то от господ подмоги не дождешься.

Утро было солнечное. И такая ширь, такой простор был вокруг, что хотелось птицей лететь над степью. После отдыха и сытного завтрака у доброго «волшебника» Закир чувствовал себя таким сильным и ловким, что и впрямь казалось: взмахни руками — и полетишь.

Но скоро небо потускнело, затуманилось, как зеркало, на которое дохнул какой-то богатырь. Впереди, на горизонте, обозначилось облако.

— Надо поспешать,— сказал Нигмет-абзый.— Похоже на буран.

Не прошли они и двух-трех верст, как сугробы и наметы закурились белесым снежным дымком. Белые змеи поползли через дорогу.

Путники поднялись на изволок. Внизу угадывалась занесенная снегом река. Там и тут проступала застывшая сверху вода. Никак, это и есть та самая Узень-речушка, о которой говорил хозяин. И в самом деле ненадежная, шельма! Но делать нечего, надо пробираться: дома, поди, ребятишки сидят голодные.

— Нигмет-абзый! Ты постой тут. Я полегче, попытаюсь пройти. А потом по моему следу и ты,— сказал Закир.

— Нет, племяш, пойдем вместе. В случае чего, поможем друг другу.

Жжжии... жжжиии... шшии...— уже визжала, шипела вьюга, бросала сухой колючий снег в лицо. Раздумывать было некогда.

— Хорошо, абзый. Только я пойду первым.— Закир надвинул на самые брови шапку, чтоб ветер не студил

лоб, поправил за поясом кистень, за плечом мешок. Зашагал. Снег под его ногами оседал лишь чуть-чуть, и он был уже на том берегу, когда раздался крик. Закир обернулся: шагах в десяти от него по грудь провалился в сугроб дядя. Закир рванулся к нему.

— Стой! Не смей! — закричал Нигмет-агай.— Оба погибнем!

У крутых берегов степных рек наметает такие бездонные сугробы, что в них может с макушкой уйти большое дерево.

Нигмет-агай откинул в сторону топор, сбросил с плеч мешок, сорвал полушубок и разостлал перед собой, чтобы опереться на него локтями. Но ветер подхватил одежду, свернул в жгут и откатил далеко в сторону. Закир кинулся за ней, но тотчас провалился. К счастью, он успел упасть грудью на снег и, как ящерица, извиваясь всем телом, пополз к полушубку...

Ветер колючими иглами сек лицо, снежной пылью застилал глаза. Закир то и дело терял из виду полушубок. Останавливался, протирал глаза и снова полз. А ветер, как на зло, откатывал одежду все дальше и дальше...

Закир делает отчаянный рывок, другой. Еще рывок. И вот он у цели. Одним движением вскидывает полушубок на спину, конец полы прикусывает зубами, чтоб не сорвал ветер, и ползет к дяде.

— Осторожно, племяш. Меня не выручишь и себя погубишь! — крикнул Нигмет-агай.

Закир подал полушубок дяде. Тот оперся о него локтями и грудью, напрягся, рванулся, и тело его легло на одежду.

— Спасибо, племяш! — устало выдохнул Нигмет-агай.— Без тебя пропал бы!

Вставать на ноги было опасно. Расстилая перед собой полушубок и переворачиваясь с боку на бок, Нигмет-агай катком катился по нему к берегу. Закир полз вслед за ним, волоча дядин мешок.

— Нигмет-абзый! Топор... топор забыли! — вдруг вспомнил Закир.

— Что делать: не погибать же из-за железки!

Но Закир уже повернул назад. Нигмет-абзый что-то кричал ему, но что, разобрать было трудно среди дикого

свиста и осатанелой пляски пурги. Закир полз по своему же следу, уже заметенному и едва приметному. Как бы не угодить в дядин провал! Он должен быть чуть правее, а топор абзый выбросил левее.

Закир снял рукавицу и начал прощупывать снег. Вдруг его рука коснулась чего-то твердого. И тотчас пальцы словно обожгло огнем. Закир надел варежку, нащупал топор, пополз обратно. А вьюга метала ему в лицо одно снежное облако за другим. Снег таял на разгоряченном лице, вода, перемешанная с пóтом, застилала глаза. Только бы не сбиться с дороги, не потерять направление! «А где дядя? Добрался ли он до берега?» Закир приостановился, крикнул:

— Нигме-е-ет-абзы-ы-й! — Но его голос разорвал налетевший ветер и, как снежинки, разметал по степи. А в ответ послышался свист да завывание вьюги.

Закир совсем не видел своего следа и полз теперь наугад...

ЛЕДЯНЫЕ РУКАВИЦЫ

Два дня и две ночи клокотала вода в казане. И оба дня и обе ночи, с небольшими передышками и коротким сном, стирала Газиза-апа белье заводчику Алепатову. Днем ей помогала Шамсия. Уже полон угол стираного, а везти на реку полоскать нельзя: пурга. В доме не осталось ни крупинки еды. Шамсия терпит, а Салих сидит на нарах, хнычет:

— Мам! Карто-ошечки! Салмы ложечку...

У Газизы пропало в груди молоко. Не из чего сделать и жвачку. Она надевает бешмет, накидывает на голову шаль, идет к Марфе.

— Мама! — в страхе говорит Шамсия.— Смотри не заблудись! Заметет!

Газиза-апа выходит на улицу: не видать белого света. Ветер срывает шаль, разметывает полы бешмета. Марфа живет напротив, да в такую пургу и улицу нелегко перейти. В двух шагах ничего не видно.

— Господь с тобой! — крестится Марфа.— Черти и те в такую непогодь сидят по своим закуткам. А ты, матушка, решилась...— Марфа высокая, дородная, в теплом, на

меху, жакете-душегрейке; на богатырских плечах цветная с кистями шерстяная шаль; в меховых, крытых сукном домашних полусапожках. Голос у нее грудной, густой. Говорит с одышкой.— Что за болесть приключилась идти в такую непогодь?

— Дети голодные, Марфа-апа. Ради аллаха, дай мучки да картошек. И кусочек сахару на жвачку сынку.

— Э-хе-хе! — сокрушенно вздохнула Марфа, качая головой.— Что вы без меня бы делали? Как мухи осенние, детишки-то бы перемерли. Почитай, всю слободу кормлю, спасаю.

Марфа уходит в сени. Приносит муки, пополам с отрубями. Дочери приказала достать из подпола ведро картошки. Приготовила кусок сахару.

— Держи. Да только не ради вашего поганого аллаха. А ради Христа. Он один бог на свете.

Газиза молчит. Что ж поделаешь! Нужда заставит все стерпеть.

Марфа достает замасленную конторскую книгу, которую ей подарил приказчик Алепатова, ставит в ней какие-то крестики. (Ни писать, ни читать Марфа не умеет. Но в своих крестиках, кружочках, черточках разбирается отлично!) Захлопнула книгу. Говорит с одышкой:

— Весной будешь присылать ко мне Шамсию. Воду носить. А начнется прополка бахчей, — и мальчонку.

— Спасибо, Марфа-апа. И дочку, и сынка пришлю. И сама помогу.

Салих, разутый, выскочил в сени, встречая мать. Схватил ведерко с картофелем — и к казану...

На третьи сутки под утро пурга затихла. Над Тау-баши засветило солнце. Словно проснулась Илькенэй и улыбнулась людям. Газиза-апа, Шамсия и Салих положили в ручные розвальни белье, лопату, пешню и тронулись к реке.

У обрыва остановились.

Там, внизу, темнела прорубь: кто-то уже ее расчистил. Наверное, Алькина мать.

— Мам, тут я один спущусь. Вы только подтолкните сани,— говорит Салих.

— Ты с ума сошел?! Шею захотел свернуть?

— Ну да, скажешь! Мы с Закиром ого как катались тут! Ну, мам! Слышь?

Мешкать было нельзя: белье в санях становилось, как лубок, и Газиза-апа сердито сказала:

— Ну, шайтан с тобой! Сломаешь шею — пеняй на себя!

Салих встал на задок саней, схватился за бечеву, как за вожжи, крикнул:

— Давай!

Сани сначала ехали медленно, как бы нехотя, с раздумкой и опаской. Потом все быстрее и быстрее!

И вот они уже летят, взметая облако снежной пыли.

— Гей! Гей! — кричит Салих, как кучер заводчика Алепатова на прохожих.— Гей, гей, дорогу!

Пусть посмотрит Шамсия, какой он смелый. А то: «Салих у нас такой, Салих сякой: трусишка-хвастунишка!..»

Вдруг сани тряхнуло со страшной силой, и Салих летит головой в сугроб. Дрыгает ногами.

Газиза-апа и Шамсия подбегают, вытаскивают из сугроба незадачливого ездока: Шамсия хохочет, мать ругается.

— Ах ты мучитель мой! Хорошо еще головой в снег угодил, а не в прорубь.

Сани лежат вверх полозьями, на снегу дымится белье.

— Хорош джигит! — смеется Шамсия.

Все трое ставят сани на полозья, собирают белье. Подъезжают к проруби.

Шамсия со страхом смотрит на мать. Она знает: прежде чем полоскать, мать сделает ледяные рукавицы, чтоб было теплее... И точно. Вот она засучивает рукава бешмета и по локоть опускает руки в студеную воду. Потом держит их на ветру. Тотчас руки от кончиков пальцев по самые локти покрываются тоненькой ледяной корочкой. И так мать делает несколько раз.

Только теперь мать берет белье. Опускает в прорубь, и ее ловкие руки ходят справа налево, слева направо. Потом взмывают вверх, поднимая белье. И снова белье шлепается в воду. И снова попеременно то правая, то левая рука ходит туда-сюда.

...Газиза-апа и Шамсия полощут, Салих кладет готовое белье в сани и уже представляет, как они возвращаются домой.

Мама, перекинув через плечо лямку, тянет сани в гору. Он и Шамсия подталкивают сзади. Это так трудно, что порою кажется, вот-вот лопнут кишки. Но тяжелее всего, конечно, маме! Когда она останавливается передохнуть, Салих видит ее бледное лицо, устало опущенные руки, прикрытые глаза: от недоедания и усталости у нее кружится голова. Минуту-другую они отдыхают. И снова тянут сани на гору.

А дома маме бывает совсем плохо. У нее начинает ломить руки. Это так нестерпимо больно, что, кажется, было бы легче отрубить их.

Мама мечется по избе. А в люльке плачет голодный Галимзян. «Сейчас, сейчас, мой дорогой! Вот отойдут руки...» Шамсия приносит ведро снега, мать растирает им руки.

Потом Салих вспоминает про отца и Закира. Где они? Им уже давно пора вернуться. Не захватил ли в степи буран? А может, волки напали?..

НАКОНЕЦ-ТО!

— Папа! Папа идет! — радостно кричит Салих и, как был — босой, без шапки, лишь в одном бешмете,— выскакивает на улицу.

Шамсия прильнула к окну. По улице устало шагают отец и Закир. Видимо, где-то в дороге они смастерили на скорую руку сани и везут теперь на них мешки. Отец что-то сердито кричит приплясывающему на снегу Салиху. Тот несется домой, распахивает дверь: морозный воздух сизо-белым облаком врывается в избу.

— Закрой! Малыша простудишь! — кричит мать.

Но Салих ничего не слышит.

— Папа... папа вернулся! — приплясывает он у порога.

Мать хватает мокрую тряпку, замахивается, но тут в дом вваливается Нигмет-агай. Салих и Шамсия бросаются к нему.

— А ну поберегись, зашибу! — весело кричит отец и сбрасывает с плеч мешки. Снимает рукавицы, сдирает с усов ледышки.

Шамсия стаскивает с него полушубок. А любопытный Салих уже заглядывает в мешки.

— Ух, какие лоскуты! Шерсть длинная, мягкая... Пап, я тоже стричь буду. Ты мне ножницы наточи.

— Хорошо, сынок.

После чая зажгли лампу, и все уселись стричь с овчинных лоскутов шерсть. Чирк! Чирк! — раздается по избе. От шерсти пыль лезет в нос, в горло. Салих чихает, кашляет. Под носом у него черным-черно. У Шамсии на пальцах уже мозоли... Время к полуночи. Салих клюет носом.

— Хватит, дети, ложитесь спать,— говорит отец.

Салих забирается под бешмет отца и тотчас засыпает. Ложится и Шамсия. А Нигмет-агай и Газиза-апа сидят еще долго, за полночь. Чирк! Чирк! — словно сверчок поет в ночной тишине...

Салих проснулся от какого-то дребезжащего звука. «Это работает отец»,— догадался он. За русской печкой у отца станок для взбивания шерсти. С раннего утра папа стоит у станка, бьет по струне, сделанной из бычьей кишки, деревянным валиком. Струна ударяет по шерсти, и она становится мягкой, пушистой, волоконца тонкие-претонкие, как паутина!

От шерсти летит пыль по всей избе. Ее так много, что трудно дышать. А отец бьет и бьет, не переставая. Рубаха становится мокрой. Отец снимает ее и работает голый, в одних штанах. Салих видит, как ходят у него лопатки, а на руках — узловатой веревочкой вздулись жилы. Тяжело папе!

Салих прикрывает глаза и, как наяву, видит: из взбитой шерсти отец уже свалял стельки. Продал их на базаре и купил Салиху новый бешмет и валенки. Теперь ему не страшен никакой мороз!

Дрррын! Дрррын!..— дребезжит бычья кишка: это она смеется над Салихом. Не знает, мол, глупец, что денег, которые выручит Нигмет-Агай, едва-едва хватит на еду. Об одежде да обуви и говорить не приходится!..

„ПОЛЕНО! ЛУЧИНУ!“

В избе полумрак. Топится железная печь. Кажется, видно, как струится от нее тепло. Нигмет-агай сидит у печи на корточках. Ждет, пока тепло разольется по всему дому: скоро поднимать ребят в мэкта́б — школу. А за ночь изба так выстыла, что и взрослому не хочется высунуть нос из-под одеяла. Словно понимает это сама печь: ее железные бока все больше краснеют, жарко дышат теплом.

У казана хлопочет Газиза-апа, готовит детям завтрак. Картошка уже сварилась. Надо будить ребят. Она подходит к нарам. Свернувшись калачиком, посапывает простуженным забитым носом Салих. (Говорила же: не выбегай на улицу босиком!) Бровки сердито сдвинуты, воспаленные, потрескавшиеся губы шевелятся: что-то снится ему. Наверное, ссорится со своими дружками — Талга́том или Гошкой. Уж очень задиристый малый. Этакий осенний петушок: чуть что — и уже перышки на шее вздыбились!

Шамсия лежит на боку, вместо подушки подсунула под щеку сложенные ладонями руки. Косы расплелись, волосы перепутались.

Жалко будить: в эти дни так все умаялись — стригли шерсть, валяли стельки. Но делать нечего: детям надо в мэктэб. Неграмотному человеку худо, а бедняку — вдвойне. Ах, как бы хорошо, если б Шамсия выучилась и стала учительницей! Девочка смышленая: уже сейчас помогает подругам готовить уроки. А Салиху хорошо бы выучиться на землемера. Должность почетная. К землемеру даже богачи относятся уважительно. Не худо, конечно, и доктором. Да где возьмешь деньги? В гимназию надо платить. А тут едва-едва на хлеб хватает. Лишней рубашонки, запасного платьица нет. У Шамсии одно-единственное. Вечером вот она его постирала, теперь пойдет в мэктэб в чистом...

Газиза-апа спохватывается: что же она стоит!

— Салих! Шамсия! Вставайте, детки: пора в мэктэб!

Шамсия тотчас поднимается, протирает кулаками глаза. Смущенно улыбается матери. Девочке стыдно: обычно она просыпается сама, еще задолго до школы.

Заботливо осматривает свое платьице и шаль. Бешмета у нее нет... Вернее, есть, но такой старый — заплатка на заплатке,— что в школу в нем идти стыдно. И вместо бешмета она укутывается в мамину шаль... Еще с вечера Шамсия кладет в одну сумку эфтияк — молитвенник, в другую полено и пучок лучины...

Девочка соскакивает с нар, босыми ногами топает по холодному полу, умывается. Надевает платье. А Газиза-апа будит не добудится Салиха.

— Вставай, сынок, вставай! — Газиза-апа легонько стягивает с него ватное лоскутное одеяло, но Салих брыкается и снова укрывается с головой.

— Мама! Сейчас я его быстро подниму! — Шамсия лукаво улыбается. Склонившись над ухом брата, она громко кричит: — Ой, какой большой кусок сахара! Мама, это нам с Галимзяном. А Салих уже большой — джигит!

Салих тотчас вскакивает, вертит головой:

— Где сахар? Ма, где?

Шамсия уткнулась лицом в постель, хохочет. Салих догадывается, что его обманули. Бросается на сестру с кулаками. Но с Шамсией не так-то легко справиться. Она не уступит и не такому мальчишке.

— Вот чудак! — смеется Шамсия.— Я же не виновата! Мне сон приснился: папа пришел с базара. В руках у него вот такая головка сахара. Большу-ущая!

Салих понимает, что сестра врет, но задираться уже некогда: мать стелет на нары скатерть, ставит вкусно пахнущую картошку в мундире. И целый каравай хлеба! Настоящего ржаного хлеба! Салих со всех ног бросается к тазу, быстро умывается из кумга́на[1]. И вот уже уплетает горячую рассыпчатую картошку с теплым, душистым хлебом. Потом хитро щурит глазки.

— Мам! — кладет в рот палец, легонько прикусывает.

Мать улыбается.

— А я думала, ты забыл!

— Забудет такой сластена! — говорит Шамсия.— Он скорее забудет принести в мэктэб сумку, чем...

[1] Кумган — высокий кувшин с носиком.

— Но, но! — Салих грозно сдвигает жиденькие бровки.

Газиза-апа достает из кованого сундука кусок сахару, откалывает от него две небольшие дольки, остальное снова прячет в сундук: на жвачку Галимзяну.

Нигмет-агай торопит детей. Сам он уже стоит в полушубке, в валенках, рукавицах. На улице морозно, и в такие дни он возит ребят в школу на легких ручных розвальнях.

Шамсия обувает материны валенки, укутывается в шаль. Надевает через левое плечо сумку с эфтияком. Через правое — сумку с поленом и лучиной. Готов и Салих. Отец усаживает их в сани, укрывает стеганым одеялом. Накидывает себе на грудь широкую лямку...

Школа далеко. Нигмет-агай покрывается весь инеем, как лошадь на зимней дороге. Шамсие в шали холодно. Будто кто-то ощупывает ее ледяными пальцами, ищет тепло, что взяла она из дому. Зубы начинают сами собой стучать, того и гляди, прихватят язык.

Но вот сани въезжают в ворота мэктэба. Шамсия выскакивает из саней, а Салиха отец везет в мэктэб для мальчиков, что находится при мечети.

Шамсия подбежала к крыльцу, там уже толпились ее одноклассницы.

У дверей стоят дежурные, девочки из старших классов: Халима́, небольшая, но бойкая, и Гульсу́м, дочь мясника. «Верста» — так прозвали ее девочки. Высокая, худущая, злая. Ее боятся все ученицы.

— Полено! Лучину! — кричит она и сама выхватывает у девочек полено и лучину, бросает у порога.

— А ты что, опять не принесла лучины? Хочешь на одном полене проехаться? — кричит Гульсум на Сани́ю — дочь портного, дяди Ибра́я.

— Завтра мама целую охапку даст, сегодня у нас нету.

— Если нету — иди домой!..

Сания плачет.

— Ну ладно, пропустим, — говорит Халима. — Только смотри, завтра обязательно принеси... А ты, Шамсия, принесла? — улыбается Халима. Она старше Шамсии, но девочки дружат.

Шамсия подает сумку.

— У-ух, какое полено! — говорит Халима.— А лучины сколько! Молодец, проходи!

Шамсия входит в мэктэб. Это деревянный дом муллы. В одной половине живет сам мулла, а в другой школа. Учит девочек его жена — абстáй.

В этот утренний час в классе еще сумеречно, и потому на подоконнике горит маленькая керосиновая лампа. В классе нет ни парт, ни доски.

Шамсия разулась у порога, где уже стояли чьи-то валенки, коты́ — кожаные башмаки на деревянной подошве, лапти. У голландской печи хлопочет дежурная родительница тетя Кадрия́. Часть принесенных ученицами дров она складывает за печку, а часть уносит на половину муллы.

Шамсия прошла вперед. Девочки сидели на полу, поджав ноги калачиком. На коленях лежал приготовленный к уроку эфтияк. Шамсия села рядом с Санией.

С половины муллы вышли дежурные — Халима и Гульсум. Обе в длинных татарских платьях. Халима в белом, с красными цветами, с тремя оборками на подоле и в сборку в талии. У нее шерстяные чулки, подошвы и пятки обшиты белой холстиной. В косах Халимы позвякивают десятикопеечные серебряные монеты.

Платье Гульсум такого же покроя, как и Халимы. Но бордовое, кашемировое. Косы длинные, ниже колен. В них на тесемках старинные, еще времен царицы Екатерины, рублевые монеты. Глаза у Гульсум большие, черные. Брови и ресницы слегка насурмлены (Гульсум считает себя уже невестой).

Обе они — и Халима и Гульсум — важные. Еще бы! Они были на половине самой абстай. И получили задание. Гульсум чувствует себя совсем хозяйкой. Мать ее часто шлет абстай большие куски жирного мяса, копченую домашнюю колбасу. Каждую пятницу приглашает на званый обед. Одаривает богатыми подарками.

Строгим взглядом она окинула сидящих на полу девочек. Откинула назад косы.

— Слушайте повеление абстай! Шамсия! Нурия!



Скажите своим матерям: в четверг они стирают белье абстай... Гульна́р! Сания! А ваши приносят по десяти ведер воды из реки. Фатима́, скажи матери — завтра ей топить печи. А твоей, Зюльфирэ́, мыть полы в мэктэбе. Поняли? Ну, тихо: сейчас войдет абстай... Не забудьте, завтра четверг! Принесите подаяние! —добавляет дежурная.

Каждый четверг дети должны приносить учительнице подаяние — хайр. Кто две копейки, кто три. А у кого денег нет — какую-нибудь вещицу. Иначе абстай не будет учить.

Тетя Кадрия выносит из половины абстай стеганое одеяло, складывает его вчетверо, кладет на пол у передней стены класса. Затем приносит подушку, кладет ее на одеяло.

Девочки притихли. Шамсия поправляет косы, оглядывает платье: все ли в порядке? Смотрит на дверь, откуда должна выйти абстай, их мугаллимэ́ — учительница. Вот наконец и она! В зеленом кашемировом, до пят, платье. На голове синий атласный платок. На шее монисты из аметиста и коралла. На запястьях по два серебряных, кавказской чеканки браслета. На длинных пальцах кольца с розовыми и зелеными камушками. Глаза у аб-



стай черные, навыкате. Над ними нависли длинные ресницы. И от этого кажется, что абстай ни на кого не глядит, а все время смотрит вниз.

Шамсия мысленно примеряет себе то монисты, то кольца абстай и очень завидует ей. Девочке тоже хочется быть учительницей.

Дежурная Гульсум приносит пучок длинных лоз, кладет их с правой стороны абстай. С левой ставит большой медный поднос с тонким слоем золы. По золе рассыпаны горошины. Халима кладет на подол платья абстай толстый, в зеленом сафьяновом переплете кора́н — священную книгу мусульман.

Тонкие пальцы, унизанные кольцами, открывают коран — начинается урок.

Абстай читает молитвы. Первая — величие и хвала аллаху. Потом идут молитвы, которые правоверные должны читать перед едой, после еды, перед сном, после сна. Есть молитва и на случай бессонницы... На случай затмения луны и солнца... Если заболеет братишка или сестренка, тоже есть молитва. Ее надо прочитать над во-

дой, поплевать в чашку и спрыснуть этой водой больного, тогда хворь как рукою снимет!

Шамсия раз попробовала так сделать, когда заболел их Галимзян. Но почему-то не помогло: малыш долго-долго хворал...

В классе тихо. Лишь раздается голос абстай. Сама она неграмотная и раскрывает коран наугад, а молитвы читает наизусть. Чтобы не ошибиться — не взять священную книгу вверх ногами,— на сафьяновой обложке она сделала тамгу́ — пометку.

Абстай читает молитву три раза. Потом девочки повторяют хором, и учительница начинает спрашивать:

— Гульша́т! Читай!

Гульшат встает на колени — так полагается отвечать урок. Глаза ее часто-часто моргают, а рот беззвучно открывается и закрывается, как у плотички, выброшенной на берег.

Сания, соседка Шамсии — круглолицая, смешливая,— не выдерживает, прыскает в кулачок. Абстай хватает лозу и со свистом опускает ее на худенькое плечо Сании. Девочка вскрикивает от боли.

— На поднос! — приказывает абстай.

Сания, бледная, с трясущимися губами, идет к подносу. Поднимает платье, засучивает длинные, кумачовые штаны и голыми коленками опускается на золу. Горошины больно впиваются в тело.

— Отвечай урок!

Сания хорошо знает молитву, но от нестерпимой боли в ее голове все перемешивается, путается, и она бормочет что-то непонятное.

— Тупица! — Абстай хлещет Санию розгой.

Девочка ничком падает на пол. Учительница кивает дежурным. Те оттаскивают Санию в угол.

— Шамсия! Отвечай урок!

Шамсия еще со второго раза запомнила всю молитву и читает ее с тем же выражением, что и учительница.

Абстай довольна.

— Бери Гульшат и учи там этих тупиц,— кивает она на угол, где всхлипывает от боли и обиды Сания.— Только шепотом, чтоб мне не мешать,— добавляет абстай и начинает разучивать с классом вторую молитву.

Урок длится часа два. Форточек в классе нет, от печи угарно. Трудно дышать. У Шамсии начинает болеть голова. Ох, скорее бы домой!

Наконец все встают на колени. Хором читают прощальную молитву. Абстай молча уходит: она никогда не здоровается и не прощается с ученицами. Дежурные девочки Халима и Гульсум хватают подушку, одеяло и следуют за абстай...

ЛЕДОХОД

Салих так соскучился по лету! Так хотелось выскочить из избы в степь, запустить под облака змея. Но злая старуха-зима все куражилась. То нагонит стужу — да такую, что кажется, воздух превратился в стекло; то засыплет сугробами по самые трубы землянки и избы... Но вот, будто чего-то испугавшись, косматая начала отступать в овраги, в леса. А над слободкой подули влажные теплые ветры. Снег потемнел, будто припорошили его золой, осел. Стал зернистым, как крупинки нашатыря, которым поила Газиза-апа Салиха и Шамсию, когда у них болел живот от просяного хлеба или тошнило с лебеды. Зазвенела капель, там и тут показались проталины, и Салих вместе со своими дружками — Алькой-черемисом, Гошкой-чувашином, Санькой-мордвой и башкиром Талгатом — бегал босиком смотреть на реку.

Из полей и оврагов в пойму шумно неслись ручьи, и река уже по самые берега была полна воды. Скоро она вскроется, начнется ледоход. И Салих поедет с Закиром на лодке ловить багром дрова. У-ух, здорово! Закир за веслами, а Салих на корме, за рулем. По одному движению бровей Закира Салих понимает, куда править. Льдины несут бревна, доски, ящики, бочки. И никто так ловко не умеет зацепиться багром и вскочить на льдину, как Закир.

Салих накидывает бешмет, идет к брату. У землянки, на двух кругляшах, как огромная рыба, перевернутая вверх днищем лежит лодка. Салих ласково проводит ладошкой по ее просмоленным, нагретым солнцем бокам. Входит в землянку. После яркого уличного света Салих

ничего не видит. К тому же в землянке всего одно оконце вровень с землей.

Салих остановился у порога.

— Проходи,— услышал он голос брата.

Закир сидел на полу и жестью обивал на березовом чурбане весло. К лопасти весла был прилажен железный крюк. «Весло — багор! — догадался Салих.— Ловко! Чего не придумает Закир!»

— Как по-твоему, долго не вскроется река? — стараясь быть важным, спросил Салих.

— Денька через два, три. Придет мама — сходим на берег.

Закир и сам ждет не дождется ледохода. Может, чего сто́ящее поймает, продаст. В доме опять ничего не осталось. Сестренка Зульфия так истощала, что уже не встает с нар. Мама пошла к тетке Марфе. Может, даст немного муки на салму под летнюю работу.

— Са-алих,— послышался хриповатый, тоненький голосок.

Салих подошел к нарам. Зульфия лежала, накрытая лоскутным одеялом. Глаза большие-пребольшие, а личико сморщилось, как у их соседки бабушки Сэрби. Губы потрескались. Около нее игрушки, сделанные Закиром.

— Здоро́во! — сказал Салих.— Чего же ты не играешь? — Он взял смешного лопоухого ослика, вырезанного из коряги.— Давай садись, и поедем... на базар!

Девочка вяло улыбнулась, с трудом высвободила из-под одеяла худую, бледную ручонку, взяла ослика, но игрушка тут же упала на нары.

Вернулась Фирюза́-апа.

— Ну как, мама? — спросил Закир.

— Не дала. Говорит, вы еще за прошлый год должны... А я же помню, все-все отработала. Две недели бахчи полола.

— Проклятая кулачка! — процедил Закир сквозь зубы.

— Спасибо, бабушка Сэрби выручила. Немножко одолжила муки. И кусочек сахару для Зульфии. Завтра схожу к лавочнику Кашфи. Может, мешки даст чинить... А ты куда собрался?

— На реку с Салихом сходим...

...Они стоят у обрыва над рекой. За ней далеко-далеко во все стороны раскинулся город. Хорошо видны каменная трехэтажная тюрьма, колокольни, минареты мечетей, окраинные домики. Вон у самого берега белеет дом Федьки-печника, закадычного дружка Салиха. Чуть подальше — новый дом плотника Степана. А вон большой, на каменном фундаменте дом лавочника Кашфи...

Закир смотрит на реку, на небо, тянет ноздрями влажный воздух: «Да, дня через два вскроется».

И он не ошибся!

Еще едва-едва занимался рассвет, когда над Тау-баши раздался оглушительный грохот, словно выстрел пушки. А затем треск, скрежет. Тронулся лед!

Закир выскочил из землянки. Стоял такой густой туман, что казалось, его можно пить, как молоко. В двух шагах ничего не было видно. Но Закир шел смело. Он знал тут каждый холмик, каждый овражек, канаву и мог бы пробраться к реке даже с завязанными глазами.

Туман рассеялся. Шум над рекой все нарастал. Льдины, вздыбившись, сшибались, как разъяренные боем кони. Из слободы шли, бежали ребятишки, мужики, бабы. Кто в лаптях, кто в рваных котах, детвора босиком. Веселые, возбужденные, словно вырвавшаяся из зимнего плена река вот-вот одарит их дорогими подарками. Кому даст новый бешмет, кому сапоги с голенищами в гармошку, кому рубашку.

К Закиру подбежал запыхавшийся Салих.

— Чего ж ты меня не разбудил?

— Э-э, брат, в таком деле сам не зевай! Поспать, видно, любишь!

Салих потупился — ничего не скажешь: если бы вредная Шамсия по утрам не щекотала ему пятки и не поднимала в мэктэб, он каждый день спал бы до обеда!..

— У-ух, как прет! — воскликнул он, переминаясь босыми ногами.

— Ну, поглядел, и ладно. Пошли домой — захвораешь! Больше тут пока делать нечего. А вот дня через два будет дельце.

Салих покорно идет за Закиром. Матери так не слу-

шается, как двоюродного брата. Еще бы! Закир первый батыр в Тау-баши: с ним бороться лучше не берись! А из лука бьет без промаху, даже в маленький кружочек. И он, Салих, как подрастет, будет таким же! Он уже научился ходить, как Закир: шаг твердый, голова чуть закинута назад. Глаза прищурены, смотрят вдаль. Брови... Вот только с бровями у него никак не получается. Сдвинешь их у переносицы, а как забылся, они опять расходятся. Ладно, еще научится!

Над городом, над Тау-баши, над слободами Верхние и Нижние Выселки, над степью — половодье солнца. Все залито его лучистым светом. Река так поднялась, что затопила окраинные улицы. Люди спасаются на чердаках, на крышах. Только Тау-баши не страшно никакое половодье: слобода стоит на горе, и теперь все ее люди, от старого до малого, высыпали на прибрежную кручу.

Салих и его дружки без фуражек, босые, в одних лишь рваных бешметах носятся по берегу, как табунок стригунков, впервые после долгой зимовки выпущенных в степь.

Река несет льдины и целые ледяные острова. А на них чего только не увидишь!

— Ребята, глянь! — кричит Федька, показывая вниз.

— Поросенок! Поросенок на льдине!

Ледяной островок, покачиваясь, плыл к ледорезу. А там ужас что творится! Льдины налетают на быки, налезают одна на другую, сшибаются. Грохот, скрежет, рев. Летят сверкающие осколки, брызги, бешено клокочет в водовороте вода...

— Э-эх, погибнет животина!

— И как он туда попал? — сокрушались в толпе, стоящей на берегу.

— Смотрите, смотрите!.. Лодка наперерез плывет!

— Да кто это такой смельчак? И поросенка не спасет, и сам погибнет!

— Закир... наш Закир! — закричал Салих, узнав брата по посадке и решительному взмаху весел.

Но тут взгляды толпы приковала еще одна льдина. Огромная, иссиня-темная — целый плавучий остров,— она двигалась прямо на полузатопленную избушку са-

пожника Ахмадуллы. На крыше избушки темнели три фигурки: жена и двое детей сапожника.

— Погибнет бабенка!

— Где же пожарные? Где власть, чего она смотрит? — возмущалась толпа, не в силах ничем помочь несчастной женщине и детям.

Нигмет-агай, расталкивая толпу, пробрался к самому обрыву. Сложив ладони трубой, закричал:

— Заки-ир!.. Оставь поросенка!.. Мать с детьми спасай!

Но Закир не услышал его. Он вообще ничего не слышал и не видел, кроме маленького ледяного островка с поросенком. И еще Зульфию. Сестренку, умирающую от голода. Больную мать, склонившуюся над ней... По шариа́ту[1] свинья — животное нечистое, и татары свинину не едят. Не ест ее и Фирюза-апа. Но он, Закир, если не найдется хозяин, подарит поросенка тете Марфе, а она даст молока Зульфие и, может быть, картошки и хлеба для мамы. И Закир еще сильнее налегает на весла. И уже видит бледный пятачок поросенка, круглые глазки под белесыми ресницами. Еще взмах, еще толчок — и он зацепится крюком за льдину...

— Заки-и-ир! — донеслось до него, и в этом тревожном крике он узнал голос дяди.

Нигмет-абзый показывал на избушку Ахмадуллы и огромную льдину, плывущую на нее.

Руки Закира еще продолжали грести. Еще взмах — и он может уже зацепиться веслом за ледяной островок и вскочить на него, схватить поросенка. Но тут сознание его потрясает страшная картина: огромная, тяжелая льдина ударяет в стену избушки, и домик с детьми и матерью опрокидывается, как спичечный коробок...

Крутым рывком он развернул лодку, а льдина с поросенком, казалось, еще быстрее поплыла к ледорезу — навстречу своей гибели.

— Прыгай! В воду прыгай! — кричали поросенку ребята.

— Кому говорят, дурак! — надрывался Федька, стараясь перекричать шум воды у ледореза.— Пры...

---

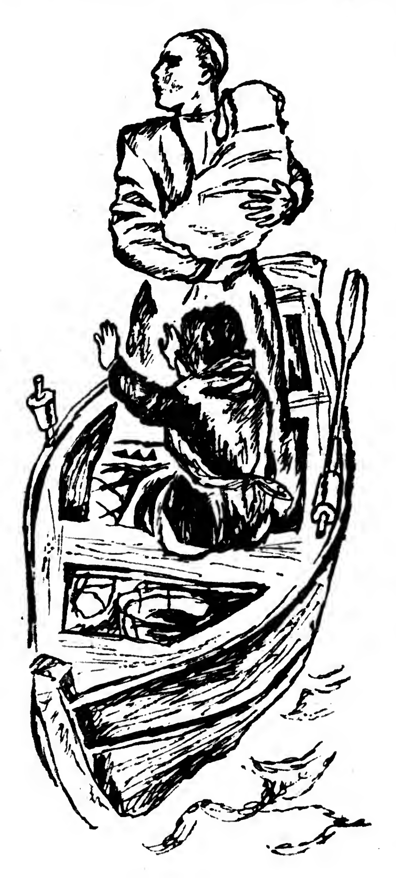
[1] Шариат — свод религиозных и бытовых правил у мусульман.

Федька не успел договорить — льдина с грохотом ударилась о бычок. Мелькнул поросячий хвостик — и все скрылось в клокочущем месиве льда и воды...

Салих только теперь вспомнил про Закира. Где он? Где? Э-вон! Гребет к избушке Ахмадуллы. С берега ему кричат:

— Эй, парень! Льдина, обходи слева!.. Стой, стой, туда нельзя: водоворот!

Со всех сторон лодку Закира окружили льдины. Закир направляет лодку вправо, влево, вперед, назад, наконец, вырывается из ледяного плена и что есть мочи гребет к избушке, на которую, покачиваясь, движется ледяной остров.



— Нажми, парень! Нажми! — кричат ему с берега.

— Смотрите, еще шесть лодок! Пожарники плывут! Вон тот сейчас в водоворот попадет... Куда прешь, дурья башка?.. Точно — перевернулся!

— Поймали! Поймали! Эх, и искупался мужик! Хорошо, что под лед не угодил!

Две лодки подплыли к дому лавочника Кашфи. В толпе послышался негодующий ропот:

— Тоже нашли кого спасать! Дом на каменном фундаменте — устоит.

— Эй, шайтаны проклятые! К Ахмадулле плывите. Детей, мать спасайте!

— Смотрите, смотрите! Парнишка уже подплывает к избушке! Вот батыр! Да чей это смельчак? Звать-то его как?

— Сын Фирюзы, Закир. Племянник Нигмета Ахметшина... Настоящий джигит!.,

Ледяной остров совсем уже близко. Закир напрягает все силы. Еще несколько взмахов — и лодка ударяется носом о стену избушки. Закир разворачивается, прижимается бортом к стене. Встает. Хватается за край крыши.

— А ну, быстро ко мне!

Пятилетний малыш со слезами, размазанными по лицу, тотчас паучком подползает к нему. Трехлетнюю девчушку с кругленьким, как вишня, личиком и глазками-угольками подает ему на руки мать. Закир сажает девочку на дно лодки вместе с братом.

— Сейчас и мама придет к вам... Апа! Спускайтесь, я помогу...

— Греби! Уходи! Льдина! — послышался строгий голос.

Закир обернулся: к избушке стремительно подплывала лодка, в ней сухощавый лобастый человек со светлыми усами.

— Уходи, спасай ребят! — Человек кивнул через плечо назад: льдина была совсем рядом.

Закир шлепнулся на сиденье, схватил весла, рванул ими что было сил...

И почти тотчас услышал позади себя глухой удар, грохот и треск ломающихся досок и бревен...

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Сквозь сон Салих чувствует, как все у него горит: лицо, уши и даже ладони. Во рту сухо-сухо. А язык будто обернули наждачной бумагой: так и дерет нёбо.

Салих видит поросенка. Оказывается, он вовсе и не утонул. А просто нырнул, чтобы обмануть ребят. А по ту сторону ледореза выплыл на берег. И вот сейчас смеется над Салихом. Так хохочет, что видны его кривые зубы.

— Уходи, хрюка! — кричит Салих. И чувствует, как чья-то рука касается его лба, подносит к его губам круж-

ку воды с настоем пастилы из калины. Салих, не открывая глаз, пьет и снова засыпает.

Сквозь сон он слышит голос Закира:

— Лодка, дядя, надежная. Все будет в порядке.

— Молодец, хлопец! Не будь тебя, пожалуй, погибли бы и ребятишки, и мать. Вряд ли бы я один успел снять всех троих...

Салих открывает глаза. Горит коптилка. Он видит отца, Закира и какого-то дядьку с белыми усами.

— Значит, договорились? Добро́! — Дядька встает.— Действуй, готовь лодчонку, а мы тем временем как раз подоспеем с Нигметом.

Закир уходит. Отец достает из подпола сверток в рогоже, который принесли тогда двое дядек. Усатый берет сверток и уходит с отцом.

После них появился лавочник Кашфи — маленький, кругленький, бритоголовый. С ведром керосина. Зачерпнул полную кружку:

«На-ко попей, сынок. Такого керосина ты еще не пробовал. Вкуснее айрана!»

— Не хочу!.. Уходи, толстопузый! — кричит Салих и снова чувствует, как чья-то рука касается его лба.

Потом на голову положили что-то мокрое, прохладное. И стало так хорошо, что он тут же заснул. А когда снова открыл глаза, в избе было совсем светло. Мать и сестра Шамсия стирали.

— Как дела, джигит? Кого это ты ругал толстопузым, а? — выпрямившись над корытом и подбоченясь, насмешливо спрашивает Шамсия.

Но, к ее удивлению, задира и забияка на этот раз не обращает на нее никакого внимания. Спрашивает мать:

— Ма, Закир у нас ночью был?

Газиза-апа не то смутилась, не то рассердилась:

— Да что он, петух, что ли, по ночам не спать?

Салих подумал и снова спросил:

— А дядька... Русский дядька с усами был?

— Какой дядька? Чего ты мелешь?

Шамсия хохочет, запрокидывает голову так, что в косах звенят монеты:

— Дядька с усами! Проспал бы до обеда, не то бы увидел — тетку с бородой!

Салих соскочил с нар.

— Был!.. Был!.. Врешь! — закричал он, сжав кулаки.

— Замолчи, глупец! — Мать схватила мокрую тряпку.— Говорила тебе, не носись по берегу босой. Простудился, вот и бредил всю ночь в жару.

Салих снова забирается на нары. Может, вправду приснилось?.. Зачем тому дядьке приходить к ним ночью? А уж лавочник Кашфи никогда никому сам не носит керосина. Да и дом его и лавка еще затоплены. Конечно, приснилось!.. Да, но он так хорошо видел Закира, слышал его голос!

Газиза-апа подала ему на нары две горячие картошки, ломоть хлеба, кружку горячей воды с пастилой.

После завтрака Салих отправился к Закиру: ночные видения не давали ему покоя. Не может быть, чтобы все это ему приснилось!

Закир и тетя Фирюза сидели на нарах — чинили мешки. Рядом с ними лежала бледная-пребледная, с ввалившимися глазами и заострившимся носиком Зульфия. В горле у нее что-то хрипело и посвистывало. Бабушка Сэрби говорит, что это шайтан свою свистульку подбрасывает ребятам.

Салих встал около нар, залюбовался работой Закира. Он так ловко и быстро делал стежки вокруг заплаты, что большая игла почти неуловимо мелькала в воздухе.

— Ну, что нового? — спросил Закир, отбрасывая в угол готовый мешок.

— Ничего,— протянул Салих.

Но по его озабоченным маленьким глазкам Закир видел, что Салиху не терпится о чем-то спросить. И точно: как только Фирюза-апа вышла, Салих наклонился к его уху и выдохнул:

— Закир-абы! Ты нынче ночью был у нас?

Глаза Закира удивленно раскрылись, рука с иглой застыла в воздухе.

— С чего это ты взял?

— Я сам видел! — выпалил Салих, обрадованный, что он не ошибся.

— Тс-с-с! — Закир приложил палец к губам. Пристально посмотрел в маленькие торжествующие глазки Салиха. Сдвинул густые черные брови, сказал негром-

ко: — Да, был, не буду врать. Но больше ни о чем не спрашивай. Бывают дела, о которых не спрашивают. Понимаешь?

Салих не сразу, но все же кивнул.

Закир снова склонился над мешком, и снова замелькала игла в воздухе...

Сегодня ночью его, Закира, разбудил Нигмет-абзый. Дядя сказал, что надо перевезти на ту сторону человека. Он возвращается из Уфы, припозднился, а ждать рассвета никак нельзя: дома больная жена — он везет для нее лекарство.

В избе у дяди Закир увидел большелобого человека со светлыми стрижеными усами. Он сразу узнал в нем лодочника, что спасал людей. И тот узнал его, похлопал по плечу: «Старые знакомые!» Потом сказал озабоченно:

— Темень на дворе — хоть глаз выколи! И лед еще не весь прошел, но ты, хлопец, ловкий. А мне позарез нужно быть до рассвета на том берегу.

Когда Нигмет-абзый и человек спустились к лодке с каким-то большим свертком, Закир понял, что это никакое не лекарство, а что-то другое, очень важное, о чем не должны знать чужие.

Не было видно ни воды, ни неба. Казалось, лодка пробивается сквозь черный туман. Каким-то чутьем Закир угадывал приближающуюся льдину и то останавливал лодку, давая льдине проплыть, то сильно налегал на весла, чтобы опередить ее.

Было тихо, лишь один звук царил в этой черной ночи: шум воды у ледореза. Да иногда раздавался глухой удар со всплеском: это запоздалая льдина налетала на быки ледореза.

На том берегу человек взял сверток, вышел из лодки.

— Спасибо, хлопец! Кажется, тебя Закиром зовут? Ну, а меня Петр! Или дядя Петро. С Нигметом мы еще на этапе познакомились. Ну, а теперь и с тобой знакомы... Спасибо, товарищ! — Петр стиснул руку Закиру.

Закир хорошо знал: «товарищ» по-русски означает

близкий человек, друг. Но он не знал, что человек с добрыми голубыми глазами вложил в это слово иной смысл, иное понятие: друг — соратник по борьбе...

„А БЕШМЕТ У ТЕБЯ ЕСТЬ?“

На дворе только что занимался рассвет. Петухи пели еще сонно, неохотно. Они, наверное, и вовсе бы не пели, да уж такая их обязанность: извещать людей о начале нового дня.

— Вставай, вставай, дочка! — слышит Шамсия голос матери.

Девочка поднимается, сидит на постели, не открывая глаз. Ох, как не хочется просыпаться в такую рань! Еще бы хоть чуточку, хоть самую малость полежать. Но раз мама будит, надо вставать. Шамсия открывает глаза и видит тетю Фирюзу, Закира. Оба в бешметах, в лаптях. На нарах спит Зульфия. Шамсия сразу догадывается: сегодня все — и отец, и мать, и тетя Фирюза, и Закир — идут на кожевенный завод Алепатовых мыть шерсть. А Зульфию Фирюза-апа принесла ей, Шамсие, досматривать.

Отец и мать тоже одеты. Даже Салих, этот лодырь, куда-то собирается: сидит на полу и торопливо обувает лапти.

— Ты куда? — спросила Шамсия.

— С ребятами на свалку за щепками пойдем.

Вода в эту пору в реке ледяная, можно легко простудиться.

Шамсия слышит, как Закир уговаривает Фирюзу-апа:

— Мама! Ну я прошу тебя — не ходи! Нельзя тебе.

Тетя Фирюза худая, бледная. Губы синие. У нее чахотка. Она даже здесь, дома, зябко кутается в шаль. Как же она будет мыть шерсть?

— Ничего, сыночек. Я хоть немного помогу тебе,— говорит тетя.— У тебя же совсем износился бешмет. И рубашки все в заплатках...

— Ничего мне не надо! Ты же простудишься!

— Да, да, Фирюза, нельзя тебе в воду,— говорит Га-

зиза-апа.— Мы от своего заработка прибавим Закиру на обнову.

Но Фирюза непреклонна. И Закиру надо кое-что купить, и Зульфию надо поддержать. Бедняжка так ослабла, что уже нет сил даже плакать. Плачет без голоса, без слез.

Салих наконец обулся, вскочил, притопнул. Молодцевато прошелся по избе. Дернул походя за косу сестру: мол, обрати внимание на рабочего человека! И Шамсия обратила: дала такой подзатыльник, что с «рабочего человека» слетела шапка.

В доме тихо-тихо. Слышно, как посапывает в люльке Галимзян да что-то посвистывает в горле у хворой Зульфии.

Шамсия идет умываться. Утирается холщовым полотенцем с красными узорами на концах. Достала из-под дерюги осколочек зеркала. Она прячет его от Салиха. Оставь на виду, сейчас же утащит на улицу в зайчики играть.

Шамсия смотрит в зеркальце, а оттуда на нее тоже глядит какая-то девочка. Глаза немного раскосые, продолговатые. Лицо серьезное, но в уголках губ притаилась смешинка. Вот-вот прыснет!

В маленькое зеркальце видно только лицо девочки. Но если руку отвести подальше, то увидишь и шею, и плечи, перекинутые через них косы с подвесками из белой жести вместо монет. На девочке розовое платье, латанное белыми заплатками. Наверное, у нее тоже не было цветных лоскутков, и пришлось чинить белыми.

— А бешмет у тебя есть? — спрашивает Шамсия девочку в зеркале.— А валенки? У меня тоже нет. Но сегодня мама и папа пошли мыть шерсть на завод к Алепатовым. Заработают денег и купят мне и бешмет, и валенки, и башмаки. А у вас кто пошел мыть шерсть? Тоже мама и папа? Ну и хорошо, и тебе всё купят!..

Шамсия смеется. Смеется сама над собой. Это было давно-давно, когда она верила, что из зеркала глядит на нее другая девочка. Теперь-то она хорошо знает: это она сама. Но Шамсие очень интересно поговорить даже с со-

бой. Иногда она так рассмешит себя, что долго не может остановиться. Но сегодня она быстро спохватывается: пока не проснулся Галимзян, надо прибраться.

Шамсия окидывает взглядом избу. Половину ее заняли нары...

Ох уж эти нары! Шамсия так их не любит! Но и без них никак нельзя. На чем обедать? Где спать? А русская печь, как кулачка Марфа, заполнила и вширь и вверх четверть избы. На шестке — оловянный самовар, деревянные блюда, миски, ложки.

Большой самотканый занавес делит избу на две части: большую, где находятся нары, и малую, где стоит русская печь.

Шамсия начинает уборку с большой половины...

НА МОСТКАХ

Во дворе кожевенного завода Алепатовых полным-полно народу — мужиков, баб, подростков. В лаптях, рваных бешметах. Гвалт. Шум. У кухни, под навесом, где раздают завтрак,— столпотворение.

На берегу реки возвышаются огромные штабеля шерсти. Ее сняли со шкур, вынутых из известкового раствора. Шерсть от извести и разных травителей буро-серая, грязная. В эти весенние дни, когда в реке много воды, ее моют, сушат и отправляют на шерстобитные и валяльные заводы.

Обычно шерсть моют женщины, но нынешняя зима была особенно трудной, люди изголодались, и теперь все пришли на «даровые» хозяйские харчи — и мужчины, и подростки.

На заводской двор вышел хозяин — Федор Алепатов, высокий, краснощекий, в черной поддевке нараспашку.

С ним пристав в форменной шинели, затянутой ремнями, и смотритель Ипатий Горчичкин, со сморщенным личиком, конопатый, на глазу бельмо.

Ипатий хлопнул три раза в ладоши: мол, слушайте, что скажет хозяин.

Алепатов широко расставил ноги, обутые в сапоги. Откинул борта поддевки: на груди сверкнула толстая

золотая цепочка — от одного кармана жилета до другого.

— Эй, мужики, бабы! Значит, такой уговор с вами на нынешний сезон.— Голос у Алепатова сильный, басистый.— Мужику тридцать пять копеек за день. Бабе двадцать пять. Подросткам по пятнадцати. А на сушке шерсти детворе по семь копеек. Ну и даровой харч. Ешь, пока пузо не лопнет! — Алепатов подмигнул приставу и расхохотался.

Толпа зашумела.

— Вот он, твой харч,— тряхнул котелком с пшенной кашей парень, стоявший рядом с Закиром.— Свинья и та жрать не будет!

— А хлеб? Нешто это хлеб? Мякина пополам с соломой!

— Не работа — каторга! В аду, поди, легче, разрази вас гром!

— Ничего, мужички, придет время — грянет!

Закир повернулся и узнал дядю Петро.

— Всю уж кровушку высосали!

Пристав надул толстые щеки, побагровел:

— Кто там смуту заводит?

Алепатов подал знак смотрителю. Ипатий бросился в машинное отделение. Раздался гудок. Перепуганные галки метнулись с крыш и черными хлопьями закружились над заводским двором.

Люди, доедая на ходу завтрак, хлынули к штабелям, хватали шерсть и торопливо спускались к мосткам.

— Мама! Спускайся, я принесу тебе! — крикнул Закир.

Он принес шерсти себе и матери.

Когда Закир ступил на мостик и коснулся рукой воды, по его спине побежали мурашки. Как же терпит мама? Надо работать быстро-быстро, иначе не согреешься.

Он бросает шерсть в корзину, опускает ее в проем в мостике и начинает мешать шестом. Вода в корзине делается грязно-бурой. Закир поднимает корзину, встряхивает, снова опускает в воду и мешает шестом. И так до тех пор, пока вода не станет прозрачной: это значит шерсть промылась. Тогда Закир ставит корзину на мо-

стик, скатывает чистую шерсть в клубок, бросает его на грудь и несет на берег. Вода множеством струек стекает с шерсти, и когда Закир добирается до кручи, тело его все уже мокрое.

Отсюда, с кручи, видно, как по берегу на целую версту чернеют на мостках фигурки. Взмахивают шестами, поднимают корзины. Несут чистую шерсть на берег, хватают из штабеля грязную и почти бегом, мокрые с головы до ног, возвращаются к мосткам. Скорее, скорее! Надо согреться, иначе погибнешь: ледяной ветер пронизывает мокрое тело до самых костей...

А вон какой-то человек идет по берегу у самой воды. Останавливается то у одних мостков, то у других. «Наверное, новый смотритель»,— подумал Закир. Вот он подошел к мосткам Нигмета... Да это же дядя Петро!

Закир чуть ли не кубарем летит с кручи. Дядя Петро улыбается.

— Здорово, знаком! — кивает головой на мостки.— Какова работка? Да-а, вот так-то хлебушек на Руси добывается!.. А меня смотритель послал: не найдется ли где местечко мостков еще наладить. Беспокоится Алепатов, как бы вода не спала. А товару — вон его сколько! — Дядя Петро кивнул на штабеля.— Ну, пока. Как-нибудь загляну к вам на Тау-баши. Есть одно де...

Позади раздался отчаянный крик. Оба разом оглянулись: в реке, захлебываясь, барахталась Фирюза. Быстрое течение сбивало ее с ног, несло вниз, захлестывало волной. Петро и Закир бросились в воду, вынесли Фирюзу на берег, положили. Подбежали Нигмет-агай и Газиза-апа.

Фирюза, без кровинки в лице, лежала, не открывая глаз.

— Застынет здесь. Надо куда потеплее. Во двор, под навес около кухни. А ну поднимаем! — сказал Петро и склонился над женщиной.

...Со двора завода выехала рессорная пролетка на резиновых шинах, запряженная парой серых, в яблоках рысаков. В пролетке Алепатов и пристав.

Петр и Нигмет, с Фирюзой на руках, остановились на дороге. Кучер осадил лошадей. Их морды закачались над самой головой Фирюзы.

— Что там стряслось? — послышался строгий голос Алепатова.

Нигмет и Петро положили Фирюзу на обочину, подошли к пролетке.

— Хозяин, беда! Женщина в реку упала,— сказал Петро.— Прикажи смотрителю довезти ее до дому.

— Хворая она. Застынет — погибнет: детей оставит сиротами,— добавил Нигмет-агай.

— Гм... гм...— откашлялся в пухлый волосатый кулак пристав.— Зачем же, батенька, хворой выходить на работу? Надобно быть дома, позвать доктора или сходить в больницу. Больному человеку надобно беречь себя.

— Господин пристав! — воскликнул Нигмет.— В доме крупинки не осталось. А у нее дитя малое с голоду помирает. Тут и мертвый из гроба встанет, не то что больной!

— Хозяин, сжалься над бедным человеком! — снова вступился Петро.— Распорядись, пусть запрягут...

— Некогда: в управу опаздываю! — Алепатов ткнул толстой, инкрустированной палкой в сутулую спину кучера: — П-шел!

Пролетка рванулась. Закир увидел багровую, наплывшую на воротник шею пристава, густой, стриженный в кружок загривок заводчика, и бешеная ярость охватила его.

— Навозные жуки! — погрозил Закир вслед удаляющейся пролетке кулаком.

— Тихо, тихо,— сказал Петро,— с ума сошел, парень!.. Не посмотрят, что малолетка: арестуют и начнут гонять по этапам... Как в свое время Нигмета.

Пролетка, мягко покачиваясь на рессорах и резиновых шинах, катится по булыжной мостовой.

— Ишь ты, хворая! — возмущается Алепатов.— Нешто я хворых зову? Я и здоровых не зову, господин пристав. Стоит мне открыть ворота, они сами, как черная саранча, заполняют весь двор. Хватают шерсть и лезут в воду. Харч даю добрый. Они с этого харча, сукины сыны, за две, за три недели, пока работают у меня, отъедаются что тебе свинья, прости господи! А холодная вода с них

как с гуся! И с этой бабенкой ничего не станется. Даже будет пользительно: малость коросту смыла. Ведь они, канальи, в своей слободе за зиму на вершок грязью обрастают. Вот и устроила себе баньку. Ха-ха-ха!..

Пристав нахлобучивает на глаза форменную фуражку и, покосившись на сутулую спину кучера, склоняется над ухом заводчика:

— А кто такой тот... со стрижеными усами?

— Кажись, из разнорабочих. Недавно пришел. Из пожарников...— И вдруг настораживается: — А что, господин пристав, может...

— Сдается, знакомый портрет. Накажи смотрителю — пусть приглядывается.

— Непременно, непременно, Александр Алексеевич!

Фирюза лежала на нарах, укрытая одеялом по самый подбородок. Закир побежал за бабушкой Сэрби. Нигметагай растапливал железную печь. Петро задумчиво сидел на березовом чурбаке у печки, оглядывая землянку. Одно оконце. Темные, замшелые, как в погребе, стены. Ни стола, ни стула. У двери, на крюках вместо одежды какое-то тряпье... Ужасно! И сколько рабочего люда живет вот так по России! Как можно такое терпеть?!

Пришла бабушка Сэрби, маленькая, очень подвижная старушка. В белом в горошек платье, в белом платке, в белых шерстяных чулках. В косичках — чулпы́, серебряные украшения с монетами.

— Ах ты сердечная, ах мое золотце, да как же это ты? — запела, запричитала старушка.— Ну ничего, ничего: скипидаром тебя разотру, чаем с малиновой пастилой напою. Поспишь, а завтра встанешь, и всю хворь как рукой снимет. Не впервой нам простужаться. Лисьих и бобровых шуб у нас нету. Одна одежка и зимой и летом — дырявый бешмет.— Она захлопотала возле больной.

Немного обогревшись, Петро подошел к нарам:

— Ну, до свиданья, апа, поправляйтесь!

Фирюза приподнялась на постели и по-русски поклонилась:

— Спасибо тебе, добрый человек!

ПЛАТЬЕ ВЕЛИКОГО ХАНА

Уже вторую неделю Фирюза лежала в постели. Бабушка Сэрби поила ее разными снадобьями. Творила молитвы, прося аллаха о помощи. Но Фирюза все не поднималась. Уходя на работу, Закир уводил сестренку Зульфию в дом дяди Нигмета. Там за ней присматривала Шамсия.

Вернулся с работы Закир промокший, озябший: день был ветреный, холодный.

— Как чувствуешь себя, мама?

— Хорошо, сынок. Только слабая очень. Поднимусь — голова кружится.

— А ты не вставай, я сам все сделаю... Вот тебе дядя Петро прислал.

Закир развернул сверток. В нем было три кренделя, несколько кусочков сахару и леденцы.

— О! Добрый человек! — удивилась Фирюза.— Да что же это он так тратится на нас? Не родные же мы ему?.. Где он служит, сынок?

— Не знаю, мама... Кажется, у Алепатовых,— уклончиво ответил Закир.— На, поешь.

Мать взяла крендель, долго смотрела на него в раздумье.

— Нет, сынок. Побережем для Зульфии. А я и хлебушка простого поем. Сходи за ней.

— Не пройдет и минуты, как прекрасная Илькенэй будет во дворце великого хана! — Закир энергично повел вокруг рукой и выскочил на улицу.

Фирюза улыбнулась: добрый сын растет, сердечный, работящий.

Скоро Закир вернулся с Зульфией. Сестренка сидела у него на закорках.

— Дочь великого хана прибыла в свои владения! — Закир посадил девочку на нары к матери. Дал леденцов.— Угощайся и говори спасибо дяде Петро.

— Закир, переоденься. В сундуке отцовы штаны. А пока рубашка сушится, шалью моей укутайся...

— А рубаху, мама, мы мигом сделаем!

Он метнулся в угол, где лежали стираные, из-под муки, мешки для лавочника Кашфи. Выбрал что поновее и почище. Схватил нож. Одним ловким движением сделал прореху на дне мешка — для головы. Затем две прорехи по бокам — для рук. И рубаха готова! Надел.

— Чем, мама, не платье хана? — и важно прошелся по землянке...



Ночью матери стало плохо. Сквозь сон Закир услышал ее голос: «Абдулла́! Абдулла! Возьми с собой Закира...»

Абдулла — это отец. Он умер два года назад, и Закир понял, что мать бредит. Он зажег маленькую керосиновую лампу. Лоб и кончик носа матери покрылись испариной. На щеках красные, лихорадочные пятна. Грудь то порывисто вздымалась, то замирала. Рядом с матерью чему-то улыбалась во сне сестренка.

Закир приложил ладонь ко лбу матери. Жар!..

Фирюза-апа открыла глаза.

— Попи-ить... сыно-ок,— хрипло попросила она.

Закир взял жестяную кружку, налил в нее воды из чайника, положил кусочек малиновой пастилы, принесенной бабушкой Сэрби. Приподнял голову матери. Фирюза отпила несколько глотков и снова уснула.

Утром ей стало лучше. Пришла бабушка Сэрби, тоненько пропела:

— Ну вот, я же говорила — все будет ладно. Аллах услышал мою молитву. Иди на работу, я тут сделаю, что нужно,— кивнула она Закиру.

— Мама, Зульфию я к Шамсии снесу.

Шамсия хлопотала по дому. Салих строгал какую-то палку.

— Чего мастеришь? — спросил Закир.

Салих соскочил с нар. Держа палку в правой руке и подстегивая себя левой, поскакал по избе.

— Ясно! Всадник с пикой.

— Салават Юлаев! — уточнил Салих.

Шамсия взяла с рук Закира сонную Зульфию, положила на нары.

— Спасибо, сестрица,— поблагодарил Закир.— Ну ты, Салават Юлаев, пойдешь шерсть мыть?

— А ну ее! — отмахнулся Салих.

— Пойдет он, такой лодырь! Ему лишь салму подавай! — сердито сказала Шамсия.

— Мы с Федькой-печником на сушку будем ходить. По семь копеек платят! — оправдывался Салих.

— Шамсия, давно Нигмет-абзый ушел?

— Давно. Он сказал, и тебе займет место на мостках.

Закир заторопился. Но едва он пришел на завод, как прибежал Салих. Еще с кручи замахал рукой, закричал:

— Заки-ир! Скорее! Бабушка Сэрби зовет!

Закир понял: плохо с мамой! Иначе бабушка Сэрби ни за что не оторвала бы его от работы.

Берегом реки, через плывуны — жидкие плывучие пески,— Закир прибежал в слободу.

Мать лежала с закрытыми глазами. Лицо ее было белее миткаля.

— Уснула! — прошептала бабушка Сэрби.

Но Фирюза-апа открыла глаза.

— Пришел?.. Оторвала я тебя от работы, сынок...

Мне почудилось... ты упал с мостков. Промок. Погреться тебя позвала.— Она была так слаба, что с трудом говорила. Веки то и дело опускались, и тогда казалось, что она засыпает.— Сходи, сынок, за дочкой... взгляну я на нее...

Когда Закир вернулся с сестренкой, бабушка Сэрби накрывала мать длинным холщовым полотенцем. Возле нар стояли соседки — Галимá-апа и Эсмá-апа.

У Закира сжалось сердце, в глазах потемнело, он чуть не выронил из рук сестренку.

— Уведи... унеси ее к Нигмету,— шепнула бабушка Сэрби.— Мне надо сотворить молитву, чтобы аллах принял ее душу.

Он шел, ничего не видя. Зульфию надо было отнести к Шамсии. Но он не заметил, как прошел избу дяди Нигмета.

Над слободой ползла тяжелая черная туча. В ее рваных краях метались огненные змеи молний. Порывистый ветер трепал полы бешмета, надувал платьице Зульфии.

— Закир-абый, куда? Мне холодно... Я хочу к маме,— со слезами сказала девочка.

Он машинально укрыл ее полой бешмета. Спустился к реке и пошел по берегу, возле самой воды. Волны захлестывали ноги, но он не замечал этого. Глаза его смотрели туда, где на мостках темнели фигурки, размахивающие шестами.

Было непостижимо, как он сумел пройти через топкие плывуны с девочкой на руках. Наверное, инстинкт и чувство родной крови привело его к мосткам Нигмета и Газизы; роднее, ближе их теперь у него с Зульфией никого не было.

Он молча остановился у мостков. Газиза-апа, словно сердцем почуяв беду, тревожно оглянулась.

— Аллах мой!.. — Она бросила шест, подбежала к племяннику.—Ты с ума сошел! В такой холод принести на берег больную девочку!

— Мама... умерла,— едва вымолвил Закир.

БЕРЕГИСЬ, МУСТАФА!

После похорон матери Закир вернулся в свою землянку с дядей Нигметом. Кажется, впервые он увидел, как неуютно, сумрачно, тоскливо в их землянке.

— Садись,— сказал Нигмет-агай и сам устало опустился на нары.— Давай вместе подумаем, как теперь жить тебе.

Нигмет-агай, облокотившись о колени и зажав в руке подбородок, долго молчал. Потом ударил о колено рукой, как бы утверждая что-то.

— Я полагаю так. Хоть парень ты уже большой, но одному трудно. Давай порешим: пока будешь жить у меня. Там есть кому и за Зульфией присмотреть, и обед приготовить, и бельишко починить. А станешь взрослым, можешь снова вернуться сюда.

В тот же день Закир перенес к дяде Нигмету небольшой, окованный поржавевшим железом и почти пустой сундук. В нем хранилось лишь девичье платье матери да шелковый цветастый платок — ее единственная гордость и радость. Взял свое латаное белье, рваные бешметы на подстилку и сестренкины игрушки.

Нигмет-агай забил горбылями оконце землянки, дверь. И за какой-нибудь час со всем было покончено.

Салих ужасно обрадовался, что Закир будет жить у них. Попробуй теперь тронь его Мустафа: живо получит по шее от Закира!.. А сколько всего знает Закир! Как метко стреляет из лука! А какие большущие змеи умеет запускать! Теперь и он, Салих, всему этому научится...

Салих даже засвистел от радости. Но тут кто-то больно хлестнул его по спине.

— Ты что, беду не понимаешь? Тетя умерла, а тебе радость? — сердито сказала мать.

Салих хотел было заплакать: не то от боли, не то чтобы показать, что и ему жалко тетю Фирюзу. Но, как назло, слезы не выступали. А голосить без слез толку мало: мать все равно не поверит. И потому он благоразумно решил сейчас же сгонять к своему закадычному дружку Федьке-печнику. Рассказать о Закире. Федька тоже обрадуется: и ему не раз попадало от Мустафы.

Салих схватил пику и выскочил из избы.

Вскоре после похорон Фирюзы в Тау-баши пришел Петро. В доме Нигмета дети уже спали, а взрослые чинили мешки для лавочника Кашфи.

— Саля́м але́йкум! — по-татарски приветствовал Петро хозяев. Он был в брезентовой куртке, в яловых, ладно сшитых сапогах. На голове картуз с лакированным козырьком, из-под которого выбивался русый чуб.— Извиняйте, что побеспокоил в такой поздний час.

— Вагалейку́м ас-саля́м! — Нигмет-агай положил на нары мешок, снял фартук. Сказал, подавая руку: — Ты, Петро, в любой час желанный человек в моем доме.

— Спасибо на добром слове.— Петро поздоровался так же, за руку, с Газизой, потом с Закиром и как-то особенно пристально поглядел ему в глаза.

Гость сказал, что зашел поговорить с Закиром. Кивнул на спящих ребят:

— Как бы не потревожить. На дворе тепло, может, прогуляемся?

Они вышли на улицу. Драгоценной серьгой сказочной красавицы висел над Тау-баши месяц, заливая слободу и окрестности зеленовато-серебристым светом. В слободских избах и землянках уже погасли огни. И только за рекой, в центре города, там и тут светились окна.

Они молча прошли по слободе. Вышли к реке. Спустились под кручу.

— Вот тут присядем,— показал Петро, где берег был подмыт водой и образовалась небольшая ниша.— И от ветерка защита, и от недоброго глаза.

Внизу, в воде, отражались месяц, звезды, и казалось, там плывет маленькая серебряная лодочка среди маленьких изумрудных островков.

Петро положил руку на плечо Закира.

— Слышал я про твою беду,— глухо сказал он.— Что и говорить, большое горе! И словом, пожалуй, тут не поможешь. Тут надо душою переболеть. Но только не опускать рук. Устоять и идти. Сцепить зубы до боли в скулах, чтоб эта боль заглушила ту, что в сердце. Я сам остался сиротой в такие же лета, как ты. Немного даже помоложе. Отца угнали на каторгу, а мать не перенесла горя — умерла. Но мне было легче: я был один. А одна голова, как говорят, не бедна. А и бедна, то одна. У тебя

же сестренка. Ее надо вырастить, выходить, на ноги поставить. Так что ты, братушка, в ответе и за нее.— Петр достал кисет, свернул цигарку, закурил, пряча огонек в ладонях.— Я вот зачем к тебе пришел. Посоветовались мы там со своими ребятами на заводе — хотим тебя учеником к дубильщику Хаки́му Аллая́рову пристроить. Будет трудновато вначале, конечно. И жалованье гроши. Но все же будешь при деле. Да и беду сообща, вместе легче перемолоть. Если согласен, будем хлопотать.

Закир давно догадывался: дядя Петро не простой человек. Кроме работы на заводе, у него есть еще какое-то важное дело. И те свертки, которые он переправлял на лодке, связаны с этим важным делом. И по всему видно, дядя Петро делает это дело не один. И если бы ему, Закиру, доверили, он с радостью стал бы помогать им.

— Дядя Петро, я на завод очень хочу! — взволнованно сказал он.— Спасибо вам, если устроите.

— Добро! А пока на пропитание вот тебе — наши собрали меж собой.

Закир вскочил:

— Дядя Петро, но я же не смогу скоро отдать!

— Держи, держи! — Петр встал, взял руку Закира и положил на его ладонь несколько серебряных монет.— Никто с тебя их не спросит.— Он посмотрел на город. Теперь там лишь кое-где светились огни: в домах купцов и заводчиков.— А еще вот что, браток, запомни: мать твоя не умерла. Ее убили! Убил заводчик Алепатов. Убил пристав. Городской голова. Лавочник Қашфи. И русский царь; хоть он и далеко отсюда, а тоже приложил свою руку. И моего отца убили на каторге они. Запомни это... А дядя Нигмет в твои годы прошел все тюрьмы... Ну, бывай! — Он стиснул руку Закира.— Я вот тут бережком пройду.

— Осторожно, дядя Петро! В плывуны не попадите!

— Спасибо, стежка знакома.

Закир взобрался на кручу. Темная фигурка дяди Петро все уменьшалась и уменьшалась и где-то у моста через реку совсем затерялась в лунном сумраке ночи...

ДЯДЯ ПЕТРО

Ефим Карлович Скрипка, сын киевского потомственного рабочего, мастера кожевенных дел Карла Петровича Скрипки, прежде чем оказаться здесь, изрядно поколесил по России. Он был осужден за политическую деятельность и сослан в Сибирь.

Его мотали по этапным, пересыльным тюрьмам Москвы, Оренбурга, Уфы, Белебе́я, Златоуста, пока не очутился он в омской пересыльной тюрьме. Отсюда Скрипка бежал и через три недели был уже в Москве. В Киеве свирепствовала охранка, и московские товарищи посоветовали Скрипке пока подождать с возвращением туда. Снабдили Скрипку паспортом, и теперь он был уже не Ефимом Карловичем Скрипкой, а Петром Григорьевичем Баруздиным.

В свое время Скрипка перенял от отца секреты ремесла и стал отличным мастером по хрому, сафьяну и другой тонкой коже. По совету тех же московских товарищей, кожевенных дел мастер Баруздин выехал в Казань, где был крупный кожевенный завод Алафу́зовых и можно было широко развернуть политическую работу среди рабочих.

Баруздин приехал в Казань как брат некой Екатерины Ивановны Скворцовой. Та свела его со старшим мастером завода Алафузовых Мухта́ром Айтуга́новым. Тот представил Баруздина как мастера московского завода Авдеевых, переехавшего в Казань по семейным обстоятельствам.

Восемь месяцев проработал Петр у Алафузова. Но во время одной из поездок в Москву его выследили. Оставаться в Казани было опасно. Мухтар посоветовал ему переехать сюда, к Федору Алепатову. «Такого мастера он непременно возьмет. Федор за нашим хозяином гонится. А мастеришки у него плохонькие»,— добавил Мухтар.

По пути на новое место Баруздин остановился в Уфе. Город ему был знаком. Несколько лет назад здесь, в уфимской этапной тюрьме, перед отправкой в Сибирь ему дали адрес явочной квартиры.

Он нашел дом. Постучался. Вышел человек с темным от машинного масла и копоти лицом.

— Вы с ночной или только собираетесь на работу? — спросил Баруздин. (Это был пароль.)

Человек внимательно осмотрел Баруздина с головы до ног, ответил:

— Да, собираюсь в ночную смену...

Осип Куликов, рабочий железнодорожных мастерских, сообщил Петру Григорьевичу, что в городе, в который он едет, у них есть свой человек — Нигмет Ахметшин.

— Нигмет Ахметшин?!

Натренированная память подпольщика сработала быстро: перед глазами встала тюрьма, камера, круглолицый, с живыми глазами паренек лет шестнадцати-семнадцати — Нигмет Ахметшин...

— Спасибо, товарищ.— Баруздин крепко пожал руку Куликову.

Приехав на место, Баруздин решил поступить разнорабочим. Должность мастера связала бы его по рукам и ногам. Рабочие считают мастеров верными лакеями заводчиков. Смотрят на них косо, не доверяют. Это затруднило бы политическую работу. И Баруздин сначала устроился пожарником, а потом разнорабочим на завод Алепатова.

УГОЛЕК

По слободе, взвихривая пыль, катил на дрожках, запряженных низкорослой лохматой башкирской лошаденкой, смотритель Ипатий Горчичкин.

За дрожками гнались Салих, его закадычные друзья Федька, Гошка, Санька, Алька, Талгат. Позади них клубком катился Федькин Уголек — черная лохматая собачонка величиной с рукавицу. Потешная! Да и сам Федька смешной. Ребята из чужой ватаги зовут его Пауком. Руки и ноги у Федьки длинные, а туловище с горбом на спине — совсем коротенькое. Федька упал с нар, когда был маленьким. Мать ушла на мыловаренный завод мыть чаны, отец чинил печки в деревне. Федька был один дома, спал. Когда проснулся, пошел по нарам: он только что научился ходить. Дошел до края и опрокинулся на пол. Прямо на березовый чурбак. Мать пришла с работы, а Федька пластом лежит на полу.

С тех пор у Федьки только ноги и руки растут, а туловище не растет. Туловище в горб идет. Но Федька особо не тужит: зато руки во какие! Его все мальчишки боятся. А как ловко Федька печки кладет! И русскую, и голландку может сложить. И даже котелочек из жестяной банки вмажет. Все как взаправду! Когда у отца много работы, он берет Федьку помощником. Здорово выручают Федьку длинные руки!

Вот и сейчас Салих с ним рядом, локоть к локтю, бежал. Еще бы немножко — и Салих нагнал бы дрожки первым, да Федька протянул свою длинную руку и зацепился, навалился на задок, покатил! Но только недалеко. Ипатий оглянулся да как врежет со всего размаха плеткой! Федьку будто кипятком ошпарило: метнулся с дрожек, не удержался — упал. Полежал маленько, потом — от злости, наверное,— прямо на четвереньках за Ипатием погнался. Да разве догонишь! Остановился, поднялся на ноги, запустил руку под рубашку — горб щупает. А сам глаз не сводит с дрожек. Задрал рубашку:

— Гляньте, кровь не течет?

Через весь горб протянулся багрово-красный рубец. У Салиха даже сердце зашлось: будто не Федьку, а его полоснул по спине Ипатий. Ох и терпелив же Федька! Другой бы как корова разревелся, а он сцепил зубы и следит за дрожками. Лишь желвачки катаются по скулам да глаза горят, как у кошки.

— Ага, к Марфе-кулачке заехал, гад! — завопил Федька и понесся.

Уголек едва поспевал за ним на своих коротких ножках.

Ребята переглянулись: чего это он задумал? А Федька подлетел к дрожкам, схватил ременные вожжи и начал их грызть.

— Чего это он?—удивленно спросил у Салиха Алька.

— Не знаю...

А Федька то яростно грыз вожжу, то наматывал ее на руки и, натянув, с силой ударял о колено. Когда вожжи разорвал, метнулся к заднему колесу. Схватился обеими руками за гайку оси, повернул влево, вправо — не поддается! Сгреб камень, ударил по гайке — и снова руками. Пошла! Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее.

И вот уже гайка у него в руках. Федька плюнул на кожаное сиденье дрожек, бросил горсть песку и понесся к обрыву. Ребята за ним. Спрятались в овражке.

— Подь сюда! — подозвал Федька Уголька. Уголек послушно лег, навострил уши, словно и он был в заговоре.

— Глянем, как теперь конопатый поедет! — процедил сквозь зубы Федька, усаживаясь половчее...

— Здравствуй, Марфа Гавриловна, здравствуй, милейшая! — войдя в просторную светлую горницу, раскланивался Ипатий.— Ехал по делу, дай, думаю, загляну. Давно не виделись.

Марфа пригласила гостя за стол. Спросила, зачем пожаловал.

— Да известно, Марфа Гавриловна. Шерсть мыть закончили. Теперь самый сезон сушки. Работа легкая: любой мальчонка сладит али девчушка-несмышленыш.

— Смотри слободских моих ребятишек долго не задерживай. У меня скоро прополка бахчей да огородов начнется — потребуются.

— Все будет как надо, Марфа Гавриловна. А много ли посеяла в этом году?

— Сколько ни посадила-посеяла — все мое! — отрезала Марфа.— В чужие хоромы не суй нос, а слушай, что говорят...— Марфа уселась поудобнее и продолжала: — У меня еще от третьего года полнехонький сусек пшена пудов этак на сорок остался. От тебя скрывать не буду, скажу: малость с душком. Течь в крыше, недосмотрела. Ну, да голь-то слободская за зиму изголодалась — съест. Скажи приказчику, чтоб приехал. Ценой сойдемся. Не пропадать же добру!

Марфа угостила гостя медовой брагой. Прощаясь, сказала:

— Еще раз упреждаю: ребятишек моих слободских не задерживай, им надо долг отрабатывать.

— Сделаем... Все в один момент сделаем. М-мы... Марфа Гавриловна... Коль Ипатий Савельич Горчичкин сказал, о-о-о... стало быть, бу-будет. М-мы можем и самого Федьку Алепатова т-того...— бормотал захмелевший Ипатий.

Ребята уже притомились, сидя в овраге. Не терпелось идти на реку ракушек пособирать, попускать плоские камешки — они, как мяч, скачут по воде.

— И чего он там, конопатый? — буркнул Салих.

— Поди, как клоп: пока не надуется, не отвалится! — процедил Федька, не спуская острых глаз с крыльца.— Тише! Идет!

На крыльце показались Ипатий и Марфа.

Пошатываясь, Ипатий подошел к лошади. Подвязал повод, чересседельник. Взялся за вожжи — и остолбенел. Недоуменно поглядел вокруг. Федька не удержался, прыснул в кулак.

— Какая-то каналья вожжи порвала! — Ипатий показал рваные концы.

Марфа насупила брови:

— Не мели, чего не следует! Пора бы знать Марфу: кто посмеет надсмеяться над ее гостем? Небось бросил кое-как. Они и попали лошади под копыто. Мотнула головой — и порвала. Вишь ремень-то от жары да пыли перегорел, много ли ему надо?

Марфа принесла со двора веревочные, в сплошных узлах вожжи, бросила Ипатию:

— По барину и вилка — доедешь! А там проси у хозяина новые.

Ипатий почтительно поклонился Марфе:

— Спасибо, Марфа Гавриловна...

А про себя прошептал: «Ведьма! Ни дна ни покрышки тебе!» Сел в дрожки и так в сердцах хватил лошаденку бичом, что та прямо с места рванулась вскачь. Колесо слетело с оси, за ним закувыркался в дорожной пыли и сам Ипатий.

— Ха-ха-ха! — грохнул Федька.— Что, съел, конопатый!..

— Ха-ха-ха! — поджимали животы его дружки.

— Бежим! — крикнул Федька и кубарем скатился на дно оврага.

Задрав хвост, с веселым лаем несся Уголек, словно и он говорил: «Что, съел конопатый! Знай наших!»

ЧЕРНЫЙ ТУМАН

Утром чуть свет мать разбудила Салиха. Он было подтянул коленки к подбородку и с головой укрылся бешметом, да вспомнил: Федька приказал вставать пораньше, чтобы захватить самый сухой штабель. «А то достанется сырой, попробуй просуши!»

Салих вскочил. На краю нар дымилась салма со шкварками. Салих не выдержал — взял ложку. Шамсия перехватила его руку:

— Грязнуля! Сначала умойся.

— Мам! Чего Шамсия задирается? Хочет, чтоб по шее дали ей, да? — сузил в щелочки глаза, скрипнул зубами (это он научился у Федьки).

— Ой как страшно! — Шамсия съежилась.— У меня руки-ноги трясутся.— И вдруг топнула ногой: — А ну, к тазу!

— Умывайся, умывайся, сынок. Опоздаешь! — сказала мать.

Делать было нечего. Салих взял кумган, подошел к тазу, плеснул в лицо горсть воды, утерся и принялся за салму...

На улице Салих вложил в рот два пальца, свистнул. Тотчас из соседних мазанок и землянок выбежали Гошка, Талгат, Санька и Алька.

Гошка — высокий, широкий в плечах, но худой, костистый, сутулится, как старичок. Талгат и Санька — коренастые, с кривинкой в ногах. Алька похож на девчонку: тоненький, стройный что камышинка. Волосы мягкие, льняные, с золотым отливом. А глаза большущие и синие-синие!

— Айда! — сказал Салих.

Здесь, в слободе, он за главного. А вообще ватагой верховодит Федька.

Ребята спустились к реке, берегом прошли к мосту. Тотчас за мостом у овражка Федькина мазанка. Салих легонько свистнул. В окошко выглянула мать Федьки.

— Сейчас идет. Спину смажу, и выйдет.

Рубец на спине у Федьки загноился. Мать смазывала его чистым дегтем.

Федька вышел в брезентовой куртке, подпоясанный

веревкой. На боку котелок. За веревку засунута большая деревянная ложка. В доме скулил Уголек.

— Здоро́во! — Федька подал всем свою длиннопалую цепкую руку.— Шли! — Крикнул на ходу: — Ма! Смотри Уголька не выпусти!

Но едва они отошли от мазанки, как с радостным лаем и визгом их догнал Уголек. Подпрыгнул, лизнул руку Федьки. Схватил за полу бешмета Салиха, ткнулся в ноги Альке — словом, как мог поздоровался со всеми...

Федька схватил собачонку, хотел было нести домой, но ребята отговорили:

— С ним веселее!

— Он там с нами кашки поест!

Салих достал из кармана хлебную корочку.

— Уголек, пляши!

Собачка поднялась на задние лапы, закружилась.

— Порядок! — одобрительно сказал Салих. Разломил пополам корку. Угостил собачку.— Ну, а теперь спой!

Уголек сел, задрал мордочку, завыл.

— Молодец! — Салих бросил еще одну корочку. Собачонка на лету поймала ее.

— Хватит! Опоздаем,— строго сказал Федька.

Во дворе у навеса, где раздают завтрак, гремя котелками, толпились мальчишки со всех выселок. Ребята тоже встали.

— Закир! Наш Закир идет! — вдруг закричал Салих.

По двору, направляясь прямо к ребятам, шагал Закир в длинном брезентовом фартуке, в таких же брезентовых рукавицах.

— Здорово, ерши-малыши! — с доброй усмешкой приветствовал он друзей. Снял рукавицы, одному взъерошил волосы, другого хлопнул по плечу. Ребята тесным кружком обступили своего покровителя.

— Эге, посуду, я вижу, добрую захватили,— кивнул Закир на котелки.— Правильно: каша — жизнь наша! — Он подмигнул Гошке и легонько ткнул кулаком в его тощий живот.

Фартук и рукавицы Закира не то в тесте, не то в какой-то барде. Закир учится мездрить кожу — очищать

ее от мездры, подкожной клетчатки. Случается чистить и деревянные чаны, в которых травят воловьи шкуры. В чанах держатся пары купороса, извести. Можно запросто отравить горло, потерять голос. А едкие вещества иногда разъедают руки так, что обнажаются сухожилия и кости.

От Закира пахло чем-то кислым и едким. Но ребята с завистью смотрели на него: на заводе работает!

— Как позавтракаете, вон к тому штабелю поспевайте,— показал он на берег, где возвышались штабеля мытой шерсти.— А ну не зевай: кашу дают!

Федька и его дружки метнулись в самую гущу. Началась свалка. Кто-то кого-то ударил миской по голове. Тот котелком — сдачи. Подбежал с плеткой смотритель Ипатий. Ребята притихли.

Усевшись на бревнах, Федькина артель уплетает пшенную кашу с черным хлебом. Завтракает и Уголек: каждый отложил ему по ложке из своего котелка.

— Ребята, глянь! — Алька вытянул из котелка за усы большого черного таракана. Федька ожесточенно опрокинул свой котелок на землю. За ним брезгливо — Салих. Санька и Талгат вопросительно глядели друг на друга: есть или не надо? И только изголодавшийся за зиму Гошка невозмутимо уплетал из своего котелка: «Это только у Альки, а в моем нету!»

А по двору уже ходил Ипатий. Размахивая плеткой, покрикивал на ребят:

— А ну хватит пузо набивать: марш на работу!

Федька повел свою артель к штабелю, который показал Закир. Шерсть в нем и впрямь была не такой сырой, как в других. Ребята быстро растаскали ее по участку, разбили. А когда шерсть сверху продуло ветром и обожгло солнцем, стали ворошить...

Известковая пыль лезет в нос, в рот, в глаза. Уголек из черного превратился в серого, беспрестанно фыркает. Ребята чихают, кашляют. У Альки — не то он надышался извести, не то от слабости — кружилась голова. Его тошнило.

— Попить бы,— прошептал он.

— Беги к реке, пей,— сказал Федька.

Пошатываясь, Алька спустился к воде. Обмыл руки, зачерпнул пригоршню, отпил несколько глотков. Он с трудом поднялся на кручу, упал на шерсть.

Подбежал Федька. Алька лежал бледный-пребледный. Даже какой-то зеленый.

— Голова болит,— протянул он.

— Ладно, полежи, мы одни управимся,— сказал Федька и еще быстрее начал ворошить своими длинными руками шерсть.

— Глянь! — крикнул Салих Федьке.

По двору, заложив руки за спину, шагал заводчик Алепатов. В полотняном пиджаке, в мягких шагреневых сапогах. Через грудь по жилету — золотая цепочка. Рядом, сутулясь, семенил Ипатий. Они подходили то к одной артели, то к другой. Ипатий нагибался, поднимал шерсть, мял в руках, смотрел на свет, нюхал. Вдруг схватил какого-то татарчонка за ухо. Наклонил к земле, ткнул носом в большой клок шерсти.

— Посмотри, посмотри, стервец! — взвизгнул Ипатий.— Нешто так сушат? Совсем не разбил клубок, когда он так просохнет? Кашу слопал, а работать за тебя аллах твой будет?

Татарчонок встал на колени. Губы его тряслись. Большие испуганные глаза были полны слез.

— Прости, дяденька. Малость моя недоглядел.

— Надо глядеть, пострел! — строго сказал Алепатов.— На что же тебе глаза дадены? Вон они у тебя какие — как плошки! И недаром, поди, пришел: деньги плачу!

Заводчик зашагал к Федькиной артели. Увидел скрючившегося на шерсти Альку.

— Это что такое?!

— Хворый он, дяденька! — пояснил Федька.— Голова... и живот у него болит. Рвет его.

Алька лежал с закрытыми глазами: не то уснул, не то сильно ослаб.

— А нуте-ка, подними его,— кивнул заводчик Ипатию.

Едва смотритель склонился над Алькой, как из-под большого клока шерсти, куда он спрятался от солнца, выскочил Уголек и с яростным лаем бросился на Ипатия.

Алепатов строгим взглядом окинул мальчишек:

— Кто посмел привести сюда пса?

— Дяденька... — дрожащим голосом сказал Федька.— Я его не звал, он сам увязался... Уголек, Уголек, не сметь!.. Дяденька, не бойся, он не тронет... Это он попугать! — кричал Федька Ипатию.

А собачонка от смотрителя кинулась к заводчику.

— Убрать! — топнул ногой Алепатов, словно перед ним был волкодав, а не смешная, с рукавицу, собачонка.

Ипатий со всех ног кинулся к Угольку. Тот метнулся в сторону. Но его короткие ножки путались во взбитых клубках шерсти. Ипатий тотчас настиг его, схватил за шиворот. Дрожащий от страха лохматый комочек повис в воздухе.

Алепатов размашисто зашагал к себе в контору. Ипатий, держа в вытянутой руке собачонку, трусцой бежал к машинному отделению.

Федька сначала будто окаменел от страха, потом рванулся за Ипатием.

— Дяденька! Отдай Уголька!.. Ради Христа!..

— Цыц, щенок! — огрызнулся Ипатий.— Плетки захотел?

Тяжелая кованая дверь захлопнулась перед носом Федьки. Федька яростно забарабанил кулаками. Потом метнулся к окну, прильнул к пыльному, закопченному стеклу, загородясь от света ладонями. Там в полумраке вертелось большое-большое колесо с широким ремнем на ободу, ходили железные локти, взад-вперед сновали блестящие, смазанные маслом железные палки. «Паровая машина!» — догадался Федька. А вон и котел. Впереди него кирпичная печь. В ее круглой топке бушует пламя. Какой-то дядька в рукавицах и брезентовом фартуке бросает в топку кругляши.

Подбежал Ипатий, оттолкнул дядьку от печи...

У Федьки потемнело в глазах, черный туман все застлал вокруг...

Федька шел по двору, ничего не видя. Обо что-то споткнулся, упал. Он катался, бился головой о землю, до крови кусал губы. Собрались рабочие.

— Чей мальчонка?
— Наверно, шерсть пришел сушить. Их теперь тут, как мух на бойне.
— А что случилось?
— Видать, припадочный. Ишь как бьется, бедняжка... Мужики, поддержите голову, разобьется малый.
Сквозь плотное кольцо собравшихся пробились Петр и Закир.
— Дядя Петро, это Федька!.. Приятель нашего Салиха...
— Что за сборище! Разойдись! — раздался срывающийся, дребезжащий голос смотрителя.— Кому говорят?
Растолкав толпу, Ипатий пробился к Федьке. Повел зрячим глазом по собравшимся.
— Чего рты разинули? Али не видите, мальчонка падучей хворает... Тимофей! — крикнул он ломовому извозчику.— Вынеси его за ворота. Там на травке отойдет.
Огромный, по-медвежьи неуклюжий, заросший бурым волосом Тимофей наклонился над Федькой.
— Не тронь мальчонку! — послышался строгий голос. И в круг, где бился Федька, шагнул Петр. Кивнул Закиру: — Проводи домой.
Закир подхватил Федьку на руки; мальчик уткнулся лицом в его грудь, притих.
— Положи там, за воротами, и сейчас же вертайся: работа не ждет! — крикнул смотритель.
Но Закир, выйдя за ворота, не остановился. Он шел и шел, направляясь к Тау-баши.
— Уволю, каналья! Кому говорят?.. — брызжа слюной, кричал Ипатий, а Закир все дальше и дальше уходил от завода...

Закира в тот же день, когда он принес домой обессилевшего Федьку, уволили за непослушание начальству. Вечером забежал Петр Григорьевич.
— Кровососы! — возмущался дядя Петро.— Ну да придет времечко, за все поквитаемся! И за пот, и за соль на лопатках, и за глумление над рабочим человеком.
Петр Григорьевич посоветовал Закиру пока поработать где-нибудь на поденной.

— Меня дядя Иван, отец Федьки, обещал взять в подручные. Кирпичи подносить, глину готовить...

— Вот и добро! А мы тем временем пошукаем местечко на других заводах. Ну, бывай!..

ОХ УЖ ЭТА ГОРА!

Шамсия укрывает в люльке Галимзяна. Пока он спит, надо натаскать воды тетке Марфе: сегодня у нее стирка.

Девочка взяла коромысло и вышла на улицу. Солнце только что взошло. На завалинке, у самого окна, запел петух.

— Ах ты рыжий горлопан! Разбудишь мне малыша!— Девочка столкнула с завалинки петуха, погрозила пальцем.— Смотри, еще загорланишь — за бороду оттаскаю!

«Кхо-кхо-кхо»,— усмехнулся в бороду рыжий певун и важно зашагал к соседской избе, где в куче навоза копались хохлатки.

Пятистенный, о двенадцати окнах дом Марфы был самым богатым в Тау-баши. Двор полон всякой живности: свиньи, овцы, птица. В пойме реки огороды, бахчи. В городе у Марфы свой лабаз. Осенью она вывозит на базар пудовые кочаны капусты, картошку, лук. Дома в каменном подвале кадки разных солений — помидоры, огурцы, грибы.

У нее одолжается вся слобода. Не выходит из долгов и Газиза-апа. Летом вся семья отрабатывает.

Шамсия постучала в окно:

— Тетя Марфа! Не спите?

Марфа вынесла ведра.

— Кадку нальешь. Да чтоб полно было. Слышь?

— Я всегда полно наливаю, тетя Марфа,— обиделась Шамсия.

— Ну, ну, погляжу! — Марфа сладко зевнула, перекрестила рот.— Потревожила ты меня, девка, ни свет ни заря. И когда ты только спишь, оглашенная!

— И гусей выпускайте, на реку провожу.

— Эко, умница! А я совсем было запамятовала.— Марфа скрылась во дворе.

В калитке показался большой, с шишковидным надол-

бом в корне носа гусак. За ним грузно переваливались жирные гусыни. Гусак, вытянув шею и распластав крылья, двинулся на Шамсию.

— Ну, ну! Не испугались тебя, шикун! — Девочка сунула в раскрытый шипящий клюв гусака босую ногу, огрела по спине коромыслом. Гусак метнулся прочь. Гусыня недовольно зашипела.

— Ах, и ты туда ж! — Девочка дала ей шлепка по заду, и гусыня, смешно переваливаясь, побежала вслед за своим незадачливым покровителем. Шамсия рассмеялась.

Потом со двора высыпали гусята. Вытянув шеи и помахивая немощными крыльями, побежали к реке. Самый маленький гусенок, еще с желтым пушком по бокам и пепельной спинкой, не успевал за своими старшими братьями-крепышами.

— Ах ты малышка! Так уж и быть — донесу тебя. Плавать-то умеешь? Смотри не утони! — Девочка посадила гусенка в ведро, положила коромысло на плечи и, напевая, начала спускаться по крутой стежке к реке.

Под горою холодный родник,
Простынешь — много не пей.
В работе будь, как пламя,
Никому не уступай! —

пела Шамсия, покачивая ведрами.

Выпустив гусенка, она вернулась к роднику. Из отвесной стены била стремительная холодная струя. Шамсия сорвала мыльную траву, помяла ее в руках. Сок так запенился, словно и вправду в траве есть мыло. Девочка натерла ею руки, ноги, ополоснула водой. Вскинула коромысло на плечо и стала подниматься в гору... Ох уж эта гора! На нее даже налегке трудно подняться. А тут в каждом ведре чуть ли не по пуду!

Шамсия сгибается под тяжестью, быстро-быстро перебирает босыми ногами. Пока еще можно дышать и не закружилась голова, надо дойти вон до того порожка.

Девочка отдыхает, затем продолжает подъем. Ведра уже начинают ее качать, вот-вот упадет! Но еще несколько шагов — и она на круче. Опускает ведра. Ух как стучит сердце!

Отсюда все вокруг видно как на ладони. Вон лес купца Коршунова. Слышно, как кукует кукушка. Над степью парят орлы, звенят жаворонки. Береговые ласточки стаями летают над рекой. Вдали вся розовая в ранних утренних лучах красавица Илькенэй. И город весь виден. Вон там, на Мечетной улице, их мэктэб. Шамсия часто помогает одноклассницам, и девочки зовут ее «абстай». Шамсии это не нравится: абстай — жена муллы. А она ни за что, ни за что не станет женой муллы! Но мугаллимой — учительницей — ей так хочется быть! Только где взять денег, чтобы платить за учение?

Шамсия поворачивается к Юрэк-тау, шепчет: «Илькенэй! Я хочу быть мугаллимой! Помоги мне!»

Но не слышит, спит глубоким сном девушка-гора. И Шамсия, подняв ведра, уныло бредет по слободе.

Во дворе Марфы дочь Варя доит корову. Шамсия опрокидывает ведра в кадку и невольно любуется, как руки Вари ловко подталкивают вымя, сдавливают соски, и из них белой стремительной струйкой вырывается молоко, звонко бьет по подойнику. У них, у Шамсии, никогда не было коровы, у них нет даже двора, и Шамсия не сводит глаз с Вари, с ее рук. А по всему двору такой вкусный запах парного молока, что сами собой текут слюнки. Варя словно чувствует зачарованный взгляд Шамсии, поворачивает голову, приветливо улыбается:

— Подожди немножко, сейчас подою — попьешь молочка.

Варя добрая, простая. И очень красивая. Но мать почему-то не любит ее и хочет отдать замуж за противного смотрителя Ипатия.

— Сейчас, сейчас! — кивает Варя.— Видишь, уже вымя стало вялым. Еще чуточку! — Варя массирует вымя, обминает, чтобы выдоить все до капельки. Эти последние капельки самые вкусные.— Сейчас, сейчас!..

На черном крыльце появляется Марфа.

— Эй ты, бестия! Что рот-то разинула, гляделки выпялила? Марш за водой — щелок надо ставить!

Шамсия схватила ведра и выбежала со двора.

— А ты что потворствуешь? Али не видишь, девка без дела стоит? — накинулась Марфа на дочь, вырвала у нее из рук подойник.

Бочка уже полна. Шамсия принесла последние два ведра, поставила их во дворе и побежала домой. Как там братик? Не вывалился ли из зыбки?

Малыш давно проснулся и осип от плача.

— Сейчас, сейчас, не реви! Сделаю тебе жвачку.— Шамсия разжевывает кусочек кренделя с сахаром, завязывает жвачку в марлю и сует в рот Галимзяну. Малыш тотчас умолкает. Блаженно прикрыв глаза, сосет сладкую хлебную жижу, взмахивает от удовольствия ручонками, как птенец крылышками...

ЧЕРТОВ ОВРАГ

Скоро на заводе обеденный перерыв: надо нести Галимзяна кормить к матери.

Шамсия наскоро пеленает мальчика, поверх пеленок обертывает холщовым мешком. Берет на руки. Ух какой бутуз! Тяжелеет со дня на день.

Шамсия выходит из избы. На улице Салих играет с Алькой в кости.

— Салих! Посмотри за домом!

— Посмотрим! — кричит Алька. Голос у него как у девочки, тоненький. И сам он похож на девочку. Очень красивый.

Минуту-другую Шамсия раздумывала, какой дорогой идти: нижней или верхней? Нижней ближе, да там плывуны. Верхняя тоже нелегкая: чего сто́ит лишь перейти Чертов овраг! Но она не раз уже перебиралась через него и теперь снова решает идти верхней дорогой.

За слободой на лужайке Шамсия останавливается.

— А здесь не пойдем, а поедем! — говорит она малышу. Развертывает мешок, кладет на него мальчика, берется за специально пришитую к мешку лямку и, как на санках, везет Галимзяна по траве. Но лужайка скоро кончается, Шамсия снова берет мальчика на руки.

Вот и Чертов овраг. Тут надо хорошенько отдохнуть, иначе не переберешься на ту сторону. Овраг глубокий, и приходится карабкаться почти по отвесной стене. Да и братик весь сопрел от жары.

Шамсия останавливается у самого обрыва. Кладет

малыша в тень березы, развертывает. Мальчик радостно сучит ножками, улыбается.

— Отдохни, отдохни, мой бутузик! — говорит девочка.— А Шамсия песенку тебе споет.

Есть у меня конь яблочной масти,
И прорубь есть, чтоб напоить коня.
Хотя я и маленькая,
Но сердце мое отважное...

Шамсия лукаво улыбается:

— Хорошая песенка? А видел, как Шамсия танцует? Нет? Ну вот, посмотри.

Недавно через слободу проезжал табор, и Шамсия видела, как ловко пляшет под шарманку маленькая цыганка. Только вот нет бубна. Ну ничего!

Шамсия срывает колокольчики, вскидывает их над головой. Худенькие плечики ее ходят ходуном. Малыш радостно визжит, дрыгает ножками. А Шамсия уже птицей летит по кругу... И вдруг опускается на колени перед малышом и хохочет, запрокидывая голову. Бодает Галимзяна.

— У-у, какой бутуз!.. Кем ты будешь?

Мальчик сучит ручонками, воркует: «Мы-ы... гу-у... му-му...»

— Муллой? Ах ты глупыш! — Шамсия сердито сдвигает брови.—Нет, нет, мулла противный!.. Доктором! А я... я... знаешь кем буду? Мугаллимой — учительницей!

Девочка пеленает малыша и спускается в овраг.

На дне оврага она сажает Галимзяна в мешок, накидывает себе на шею лямку и начинает карабкаться почти по отвесной стене. Левой рукой она поддерживает малыша, правой цепляется за кусты, корни деревьев. Оступись, сорвись — и оба разобьются насмерть.

Лицо девочки горит как в огне. В ушах звенит, руки дрожат, пальцы немеют. Голова кружится — вот-вот сорвется!..

Девочка кладет малыша на выступ, похожий на карниз, отдыхает. И снова карабкается вверх... Уф, наконец-то! Вот уж верно, что Чертов овраг!

Шамсия долго сидит над обрывом, никак не может от-

дышаться. Хочется упасть навзничь на траву, раскинуть руки и смотреть, смотреть в небо, пока руки и ноги снова не наберутся сил. Но сейчас будет гудок на обед, и надо скорее дойти до ворот завода, чтобы мама успела покормить Галимзяна.

Девочка поднимается, и в это время ревет гудок: у-у-у...

Шамсия торопится, но ноги не слушаются ее, заплетаются. А гудок грозит: «У-у-у... Опоздала? Мать тебе задаст!»

Шамсия напрягает все силы, семенит вдоль высокого заводского забора. Скорее, скорее! Мама, наверное, уже ждет!..

Наконец-то ворота! Решетчатые чугунные ворота завода! Около них толпятся с детьми на руках такие же, как Шамсия, девочки, мальчики, как Салих, и старухи, как бабушка Сэрби.

Шум, гвалт. Ребята ищут матерей. Те волнуются, окликают их.

— Галима-апа, не видела мою маму? — спрашивает Шамсия.

А уж Газиза-апа, увидев дочь, бежит ей навстречу.

— Скорее, дочка, ско-



рее! — Она выхватывает из рук Шамсии Галимзяна, садится у забора, кормит. Нигмет-агай приносит миску щей, котелок каши.

— Поешь, дочка.

Шамсия ест кашу, Газиза-апа, придерживая одной рукой малыша, сосущего грудь, другой хлебает из миски щи. Галимзян, растопырив пальчики, пытается поймать ее деревянную, расписную ложку.

— Соси, соси, сыночек! А то загудит гудок — останешься голодным.

Нигмет-агай кладет свою ложку, уходит за кипятком...

У-у-у... — грозно и требовательно гудит над заводским двором гудок. Матери еще не накормили детей, а уж надсмотрщики ходят по двору:

— А ну поднимайсь!.. Кому говорят?

Женщины встают, суют малышей в руки ребят. Ипатий подскочил к Газизе.

— А ты что за важная птица такая — расселась? Гудок не слышала?

— Сейчас, сейчас, господин смотритель! Сыночек еще не наелся.

Малыш словно поняв, что мать вот-вот уйдет, цепляется ручонками за грудь, жадно чмокает.

— А ну, бери щенка — и марш отсюда! — кричит Ипатий Шамсие. Замахнулся плеткой: — Кому говорят?

Шамсия выхватывает из рук матери Галимзяна, бежит за ворота, а смотритель семенит в другой конец двора, кричит:

— Марш на свое место!

— Два минут... один минут! — упрашивает Гошкина мать, коверкая русские слова.— Баранчук кушать хочет.

— Подумаешь, принц! А ну!.. — Ипатий замахивается плеткой.

Ребята с малышами на руках собираются за воротами табунком и долго еще стоят, пока во дворе завода все не стихает.

— Гад конопатый! — сердито сплевывает Федька и начинает кутать сестренку.

Нюрка совсем маленькая, со вздутым животом. Руки и ноги как плети. И вся она в болячках. Федька завертывает ее в какую-то тряпицу.

— Айда!.. Берегом... Тут ближе...

БАГРОВЫЙ КУЛАЧОК

Отчаянная голова, Федька повел свою компанию нижней дорогой, через плывуны...

Мать строго-настрого наказывала Шамсие не ходить нижней дорогой. Да тут до Тау-баши совсем близко. А вéрхом вся изжаришься, пока дойдешь до дому.

— Возьми Нюрку, а мне давай Галимзяна,— сказал Федька.

Нюрка совсем легонькая, будто и не человечек — кукла, а Галимзян такой бутуз — все руки оттянет, пока дотащишь!

Ребята спускаются вниз, идут берегом. Тропинка вьется у самых плывунов — жидкого, текучего песка. Если присмотреться, то видно, как тонкими, едва заметными струйками песок стекает в реку. Гиблое место! Не только человек — брось палку, и она тотчас исчезнет.

Тропинка вьется близко от плывуна, а кое-где она даже размыта. Первыми по узкой доске проходят мальчишки, переносят своих малышей, потом берут малышей у девочек.

Плывуны остались позади.

Теперь ребята идут по твердому песчаному берегу. Видно, как в воде снуют стаи мальков. Тени от рыбешек ложатся на дно, и кажется, что одновременно плывут два косячка — один повыше, другой пониже. Иногда, чего-то испугавшись, мальки дружно уплывают все до единого, будто они связаны друг с другом какой-то невидимой нитью.

Показались песчаные карьеры с высокими, почти отвесными откосами. На их гребнях резвятся козы.

— Искупаемся! — говорит Федька.

Ребята кладут в тень откосов малышей, раздеваются, бултыхаются в воду. Девочки проходят чуть подальше и тоже кладут своих малышей у песчаных стен. Шамсия на-

шла выемку, похожую на маленькую пещеру. В ней Галимзяну будет прохладно.

Шамсия плавает и ныряет не хуже мальчишек.

— Шамсия! Камешков достань, поиграем! — кричат девочки.

Игра в пять камешков — самая любимая забава детворы Тау-баши.

Шамсия ныряет, достает один за другим камешки — красные, зеленые, синие, белые, пестрые в крапинку, как воробьиные яйца. Девочки отбирают самые красивые и идут к песчаному откосу, в тень. За игрой забылись. Прошло много времени. Вдруг Шамсия спохватывается, бежит взглянуть на Галимзяна — не плачет ли?.. Но где он? Где «пещера»? Ах, она ведь вон там, дальше, где лежали козы! Козы вверху, а «пещера» внизу. Только козы уже не лежат, настороженно смотрят вниз: чего-то испугались... Нет, и тут нет Галимзяна. Где же он? Куда она его положила?

— Галимзя-ян! А-у, Галимзя-ян! — окликает Шамсия, словно братишка уже говорит и может отозваться.— Галимзя-ян! — Голос ее дрожит, срывается.

Шамсия бросается к подругам:

— Девочки, где мой Галимзян? Куда я его положила?

— А вон там! — показала черноглазая Эльфия.— Идем, покажу.

— А-а-а! — Шамсия схватилась за голову, упала наземь, забилась как припадочная.

— Завалило! Завалило! — испуганно закричали девочки.

Прибежали мальчишки.

— Гошка! Лети в слободу! — крикнул Федька.— Скажи — Галимзяна Нигметова завалило. Пусть лопаты берут. А ты, Алька,— на завод! К дяде Нигмету... Ежели ворота закрыты — через забор сигай! А ну, копаем! — Федька бросился к обвалу и начал отгребать землю своими длинными руками.

И вот уже бегут из слободы с лопатами мужики и бабы. С завода — рабочие. Шамсия услышала причитания матери:

— Где?.. Где мой родненький!.. Ах она змея! Я же го-

ворила ей: не ходи нижней дорогой!.. Где она, я выдеру ей косы!..

Федька наклонился над Шамсией, шепнул:

— Скорее беги, спрячься в камыши!

Шамсия вскочила и, не помня себя, бросилась к пруду.

Прибежали Нигмет-агай, Закир. Выхватили у слободских баб лопаты, бросились к обвалу. Люди копали и там и тут: никто точно не знал, где завалило мальчика. Федька подбежал к бабушке Сэрби:

— Отдохни, бабуся!

Он схватил лопату и начал копать. Вдруг в ужасе отшатнулся: из земли торчал маленький сине-багровый кулачок.

— Дядя Нигмет! — прошептал Федька.— Вот он!..

Сразу бросилось несколько человек с лопатами.

— Осторожно, зашибете! — крикнул Нигмет-агай.— Надо руками.

— Скорее! Скорее! — торопила Газиза-апа, все еще веря, что малыш жив.

Но ее надеждам не суждено было сбыться.

Галимзян лежал навзничь. Раскрытый рот полон песку. Одна рука вытянута вдоль тела, другая поднята, и кулачок будто кому-то грозит.

Мальчика положили на рогожу, прикрыли платком. Понесли.

Только дома Нигмет-агай спохватился: где же Шамсия? До поздней ночи он и Закир искали девочку. Нигмет-агай вернулся домой, а Закир продолжал поиски...

Газиза-апа, будто окаменевшая, сидела на нарах у изголовья Галимзяна, Нигмет-агай — на чурбаке. Опершись локтями о колени и подперев ладонями голову, думал. Галимзяна теперь уже не воротишь. Но где Шамсия? Неужели утонула? Кто-то видел, как она бросилась в камыши у пруда. А там один неосторожный шаг — и верная гибель!.. В один день потерять двух детей! За что же такое наказание? Разве он не старался уберечь их? Разве не работал с раннего утра до поздней ночи? Он все делал, чтобы вырастить их, чтобы они твердо стали на ноги, могли добывать себе кусок хлеба. Шамсия уже помощница в семье. И вот...

Он знал, кто повинен в случившемся. Всё те же, кто

его самого чуть не сгноили в тюрьме, убили в колчедановых шахтах его отца. Они же погубили и сына, и дочь. Доколе же будет твориться такое? Долго ли будет терпеть народ?..

И вдруг в темноте ночи перед ним встал Петр. Вместе с ним их гоняли по пересыльным тюрьмам. Какой это душевный человек! Бывало, на этапе он только и глядел: кому помочь? Сколько раз он отдавал свою па́йку ему, обессилевшему Нигмету. И теперь Петр не щадит ни сил, ни жизни своей, чтобы помочь бедным людям. И он, Нигмет, сделает все для него и для его товарищей. Пусть каторга, пусть Сибирь, рудники, каменоломни — он, Нигмет, не отступится! Если погибнет, так, может, сыну Салиху будет легче жить.

Уже рассвело. Вернулся Закир. Он несколько раз обошел берег, плывуны, топи, камыши — Шамсии нет.

— Отдохни, а я еще пойду поищу.

Нигмет-агай спустился к реке. Солнце только всходило. На песчаных откосах резвились козлята. Козы тревожно блеяли, словно и они знали о гибели Галимзяна и теперь боялись за своих несмышленышей. Над обвалом с надсадным криком кружилось воронье.

Из-за реки в слободу пришел Федька. Вместе с Салихом собрали на поиски Шамсии всех ребят.

— Надо в сухих камышах пошука́ть. В сырые она не полезет — девчонка! — важно заключил Федька.

Разбились по двое, чтобы не потеряться, и пошли по камышам.

Заросли тянутся на целую версту, до самого пруда. Где-то закуковала кукушка. Федька приостановился, сказал Салиху:

— Если прокукует десять раз — значит, найдем.

Кукушка пропела девять и, словно захлебнувшись, смолкла. Федька от злости сплюнул:

— Вот дура рябая! Не могла еще один раз прокричать!.. Все равно найдем! Айда!

Было тихо. Печально склонили свои макушки камыши. Грустно насвистывала какая-то птичка. В зарослях было душно. На прогалине Федька вдруг схватил Салиха за руку и остановился. Впереди на полянке шевельнулась куча сухого камыша.

— Шуралé!.. Леший! — Салих побледнел.— В трясину затащит! Бежим!

— Погоди... может, почудилось...

Но тут камыши снова шевельнулись, и сквозь них просунулась голова девочки. Ребята бросились на поляну.

— Ты, Шамсия? Вот здóрово! А мы уж думали...

— Нашли Галимзяна? — перебила Федьку Шамсия.

— Все в порядке! — опередил Федьку Салих. И нарочито весело добавил: — Вчера еще!

— Да? Ой! — облегченно вздохнула Шамсия, сорвалась с места и что есть духу понеслась домой.

Она вскарабкалась на кручу. От родника к их дому шли с коромыслами соседки Газизы. Они несли ведра, покрытые белыми платками.

— А-а-а!.. — стиснув голову, закричала Шамсия: воду, которой обмывают покойника, накрывают белой материей!

Девочка опустилась наземь, уткнулась в колени, ее худенькие плечики сотрясались от рыданий...

Она не помнила, как дошла до дому. В сенях натолкнулась на лубок: в нем несут покойника на кладбище и хоронят.

В доме шли молчаливо-скорбные приготовления к похоронам. Одна соседка шила сáван, другая — миткалевые рукавицы: в них бабушка Сэрби будет обмывать Галимзяна. А сама Сэрби хлопотала у казана: покойника обмывают теплой водой.

Галимзян лежал на нарах, накрытый холщовым полотенцем с красными узорчатыми концами.

На нарах, в изголовье покойника, сидели две старухи. Они шептали молитвы, перебирая чётки. В ногах все так же, будто окаменелая, сидела Газиза-апа. На улице, у окон толпились русские соседки: им не разрешалось присутствовать при священном ритуале похорон.

— Глянь, Марья, все не по-нашенски: ни батюшки, ни свеч нет. И хоронят без гроба.

— У каждого своя вера, свой обычай, мать моя,— скорбно заключила рассудительная Марья.

Шамсия стояла в сенях у порога, боясь войти в дом. Она с ужасом смотрела на поднятый кулачок: казалось, что Галимзян грозит ей...

В глазах девочки потемнело, сени качнулись, и она свалилась у порога в глубоком обмороке.

Вернулись с лопатами с кладбища Нигмет-агай и Закир. Закир взял Шамсию на руки, внес в дом, положил в темный угол нар.

Бабушка Сэрби засучила рукава, надела миткалевые рукавицы, попросила всех лишних выйти. Она положила Галимзяна на лубок и начала обмывать. Потом соседки помогли ей обернуть мальчика саваном.

Перед тем как завернуть покойника с головой, бабушка Сэрби позвала всех проститься. Люди входили молча, без причитаний и слез, целовали Галимзяна в лоб.

Потом соседки положили умершего в лубок, и бабушка Сэрби накрыла его сверху полотенцем.

Нигмет-агай и Закир вынесли Галимзяна из дома и осторожно опустили на дощатые носилки, укрыли лубком и зеленым покрывалом. Мужчины подняли носилки над головами и медленно пошли на кладбище.

Газиза-апа, бабушка Сэрби, соседки — все остались у избы: по мусульманским законам женщинам ходить на кладбище не полагалось.

А дома на нарах металась в бреду Шамсия:

— Не надо, Галимзян, не надо! Зачем ты сыплешь песок в рот?..

„ДОБРОЕ ЛЕКАРСТВО!..“

Закир работал в деревне с печником дядей Иваном.

Как-то под вечер туда прибежали Федька и Салих. Салих отозвал брата, сказал на ухо:

— Приходил дядя Петро, велел тебе прийти в город.

— Да-а? А ты не знаешь зачем? — Закир пристально поглядел в глаза Салиха. Конечно, Петр Григорьевич приходил по какому-то важному делу и не мог сказать об этом Салиху. Но любопытный братишка мог подслушать разговор Петра Григорьевича с дядей Нигметом и разболтать своим дружкам.— Не знаешь?

— Не зна-аю,— протянул Салих и вдруг уставился своими шустрыми глазенками на брата: — А ты как думаешь?

Закир невольно рассмеялся:

— Ох и хитер же ты, ерш! У русских говорят: любопытной Варваре нос оторвали! Слыхал такое? — Он весело хлопнул Салиха по плечу.— Ну заходи в дом: хозяйка русским супом покормит...

Баруздин жил на окраинной улочке. Снимал каморку у одинокой женщины, работавшей на бойне.

— А, Закир! — воскликнул Баруздин.— Проходи в каморку: самовар готов. Будем чай пить с калачами.

За чаем Петр Григорьевич рассказал, что уфимские товарищи обещали помочь им кое-чем. Срочно надо найти связного. У них в Тау-баши живет обозник Сама́т-агай, ездит в Оренбург и Уфу. Нигмет обещал поговорить с Саматом. Но хранить материалы у Нигмета опасно: полицейскому надзирателю наверняка известны бывшие «грехи» Ахметшина. Хорошо было бы временно прятать материалы в землянке Закира.

— Как ты на это смотришь?

— Петр Григорьевич! Да я... Нурулла́, сын дяди Самата,— мой товарищ. Мы почти рядом живем. Ни одна душа не будет знать!

— Хорошо! А еще вот какое дело... Подыскали тебе местечко на Левашевском пивоваренном заводе. Чего-то послушаешь там, а чего-то и сам расскажешь рабочим.— Петр Григорьевич вытащил из матраца две небольшие, в мягком переплете книжонки. Улыбнулся: — Помнишь, переправлял меня ночью через реку на своей лодчонке с лекарством?.. — Баруздин кивнул на книжки.— Оно самое. Доброе лекарство! И голове шибко помогает, и на душе становится светлее. Помогает видеть дальше, разбираться, что к чему. Обязательно почитай! Прочтешь — дам еще.

— Спасибо, Петр Григорьевич!..

Салих уже засыпал, когда вернулся Закир и ошеломил всех новостью: он поступает работать на Левашевку. На завод ходить далеко — целых шесть верст. Придется возвращаться поздно, и, чтобы их не тревожить, он снова

переберется в свою землянку. А сестренка Зульфия пусть пока поживет здесь.

Газиза-апа запричитала: да как же он будет один? Кто там сварит ему салму? Кто приготовит ужин, завтрак?

Но ее остановил Нигмет-агай:

— Ну что ты, мать! Парень почти жених. Ему надо и погулять. А здесь он стесняется, боится нас потревожить. А поужинать и к нам может зайти. И завтрак можно сготовить, Шамсия или вон Салих отнесут.

И на другой день в землянке Закира снова засветился огонек. А на третий день забежал Нурулла:

— Завтра в Уфу с кожей едем! Отец велел спросить, какого чаю привезти? Китай-чай или силунь-чай?

— Вот тут написано.— Закир передал Нурулле запечатанный конверт.

Нурулла хитро подмигнул, опустил конверт через ворот за рубаху.

— Порядок!

— Смотри осторожно! — предупредил Закир.

— Можешь не опасаться! Мы же привозим из Уфы лавочникам всякий товар: кому короб конфет, кому ящик пряников, кому тюк чая. Никто и не подумает!

Однажды вместе с рогожным тюком, в котором были упакованы брошюры и листовки, Самат-агай привез небольшой, но тяжелый брезентовый мешочек. В нем оказался типографский шрифт.

— Будем заводить свое печатное дело! — сказал Петр Григорьевич.

СТЕПИ ОРЕНБУРГСКИЕ

Стояла июльская жара. В доме Нигмет-агая готовились к поездке в оренбургские степи на жатву хлебов. Тамошние помещики и зажиточные казаки засевали обширные поля кубанской пшеницей. Сорт отменный. Но в суховеи «кубанка» быстро осыпается, и помещики нанимают жнецов со всех близких и далеких краев.

Газиза-апа и Шамсия шили палатку. Нигмет-агай и Салих ладили тележку.

После обеда начали сборы. В тележку положили серпы, палатку, бешметы, пар десять лаптей. Путь не близкий — до Оренбурга триста верст! Потопай-ка!

— Пап, а кистень взял? — напомнил Салих.

— Ах, да-да, обязательно кистень!

В оренбургских степях много шакалов. Ближе к осени они рыскают целыми стаями, нередко нападая на жнецов. Салих сунул в тележку свой лук. Хорошо бы и копье, да воз и так уж получился, как Шихан-гора.

Газиза-апа накрыла поклажу одеялом: завтра чуть свет в путь.

Вечером к Закиру в землянку пришел из города Баруздин. Петр Григорьевич был озабочен: в городе появился шпик из Уфы. Пронюхала охранка что-то. За ними установлена слежка. Было бы хорошо, если бы Закир на время куда-нибудь уехал...

Чуть свет вся семья была на ногах. Салих, узнав, что с ними едет и Закир, несказанно обрадовался. Вот здорово! С таким джигитом, как Закир, не страшны даже кровожадные шакалы!

Отец роздал собравшимся у дома старухам хаир — подаяние, чтобы была удача в дороге: кому копейку, кому две.

— Да поможет вам аллах, сохранит от болезней, от недоброго человека и зверя,— сказала бабушка Сэрби.

Газиза-апа посадила на возок Зульфию, распрощалась с соседками. Попросила бабушку Сэрби доглядывать за домом. Нигмет-агай впрягся в оглобли. Справа от него накинул на себя ременную лямку Закир, слева — Газиза-апа. Салих и Шамсия уперлись руками в задок тележки.

Выехали на Оренбургский тракт — большую гужевую дорогу с вековыми березами по обочинам. Ее построили еще при царице Екатерине Второй, вскоре после подавления восстания Пугачева. Тысячи повстанцев гнали по этой дороге в далекую морозную Сибирь на каторгу и поселения.

Сейчас по тракту тянутся вереницы жнецов: татары, башкиры, чуваши, мордва, черемисы. Большинство идет пешком, волоча ручные тележки. Кое-кто едет на тощих

клячах. Всех их гонит беспросветная нужда, страх за детей, ужас голодной смерти. Все движутся к заветной реке Яик — Уралу.

Там, на берегу благодатной реки, они надеются найти работу и хлеб...

Уже вторые сутки в пути семья Нигмета. Местами кроны берез переплелись, и возок движется, как под навесом. Тут прохладно. Но там, где деревья сразила гроза или они просто сгнили и упали, солнце палит так, что в глазах начинают играть волны марева. Ни малейшего ветерка.

Салих так уморился, что уже не толкает тележку, а лишь держится за ее задок, чтобы не упасть, не свалиться, как сноп, среди дороги.

— Па-ап! Давайте отдохнем! — не выдерживает он.

— Еще одну версту пройдем и отдохнем,— отвечает Нигмет-агай.

Ох уж эта верста, какая она длинная! У Салиха все пересохло во рту. Ноги заплетаются. Того и гляди, упадет!

Наконец тележка останавливается. Салих ковыляет к верстовому столбу, кричит:

— Закир! Семьдесят девять верст прошли. Осталась двести двадцать одна. Это далеко?

— Не близко. Третью часть еще не прошли. Ну ничего, дойдем!.. — подбадривает Закир братишку.

Газиза-апа отвязывает от задка тележки чайник с водой, снимает с возка разомлевшую от жары Зульфию, поит девочку прямо из носика: кружку доставать некогда, скоро опять трогаться. У Зульфии болит от жары голова, она плачет.

— Отец! — говорит Газиза-апа.— Надо идти ночью: так мы девочку уморим.

— Нет, мать, спешить нужно. Видишь, сколько народу? Опоздаем — ничего не заработаем.— Нигмет приложил к пылающей, как в огне, головке Зульфии ладонь.— Дай ей воды с квасцами.

Закир сбегал в балку за свежей водой, и возок снова тронулся в путь.

Внезапно позади послышался цокот копыт и окрик:
— А ну дорогу!
Едва успели свернуть, как пронеслась тройка: лошади в одну масть — серые в яблоках. В тарантасе двое молодых мужчин и женщина. Мужчины в белых полотняных костюмах. Это сыновья миллионера Халитова. Вслед за ними в двух закрытых каретах проехали в свои дальние поместья жены городских богачей.
Шамсия долго смотрит, как тают в степном мареве кареты. Вот бы хоть чуточку проехать так!
На подъеме их нагнал большой обоз. Он идет в Оренбург с кожей с завода Алепатова. Тут и Самат-агай со своим сыном.
— А, Нигмет! Салям алейкум! Сажай ребят на возы, а тележку привязывай.
Нурулла увидел Закира.
— Здорóво! Ты же не хотел ехать?
— Передумал. На жатве побольше заработаю.
— Это верно,— согласился Нурулла.— Вон оно как солнце палит! «Кубанка» мигом потечет. Хочешь не хочешь, а раскошеливайся, барин!..
Салих и Шамсия садятся на подводу.
Газиза посадила Зульфию.
— Апай,— обращается обозник к Газизе,— и ты садись: отдохнут лапти и ногам будет легче! — с шуткой добавляет он.
— Да ведь мы только идем на заработки. Одарить тебя нечем, Самат-агай, на чаек.
— Чай не хлеб: брюхо и без него проживет.
Газиза тоже садится, и обоз трогается. Самат-агай, Нигмет, Нурулла и Закир идут позади обоза.
— Эка что народу-то идет! — вздыхает Самат-агай.— Катерина-матушка гнала на каторгу по этому тракту. А теперь царь-голод гонит.— И вдруг, понизив голос, говорит: — Вчера жандармы у нас в Тау-баши были. У Марфы останавливались. Чего-то вынюхивают. Надежно ли уфимский товар упрятали?
— Все в порядке, дядя Самат! — отвечает Закир. Брошюры он уже переправил Петру Григорьевичу. А шрифт закопал у себя в землянке.
Солнце клонится к закату. Дети утомились, просят

есть. У степной речушки семья Нигмета остановилась на ночлег и отдых, а обоз продолжал свой путь.

Нигмет-агай поставил палатку. Закир набрал в прибрежных зарослях сухого тальника. Газиза-апа принялась варить ужин.

Утром чуть свет снялись, и снова дорога, и казалось, этому разогретому, как жаровня, пыльному тракту не будет конца...

Вдали замаячил встречный обоз. Сначала он походил на гигантскую змею, медленно ползущую по дороге. Потом стали вырисовываться отдельные подводы. Налетевший ветер донес тошнотворный запах, похожий на смрадный запах могильника.

— Нигмет-абзый, чем это пахнет? — спросил Закир.

— Наверно, где-то неподалеку сапных лошадей закапывают. А шакалы разрыли. Вот и несет! — И он налег на оглобли, чтобы скорее уйти от этого места.

Впереди обоза показались два всадника в жандармской форме. «Эге! Да это не простой обоз! — догадался Нигмет.— Арестантов гонят по этапу. От них и идет запах».

Помнится, когда его гоняли из тюрьмы в тюрьму, некоторые заключенные из их группы были в кандалах. От железа на руках и ногах образовывались язвы, и человек гнил заживо.

— Э-ей, сторонись! — кричали жандармы.

Надо торопиться. Только замешкайся — и бич со свистом рассечет рубаху. Нигмет-агай сворачивает телегу с дорожной насыпи на обочину. По тракту громыхают колымаги. Закир, Шамсия, Салих во все глаза смотрят на арестантов. На них черно-синие ермолки, такие же рубахи и штаны. Изможденные, желто-землистые заросшие лица.

— Мать, нет ли у тебя чего лишнего? — спрашивает Нигмет.

Газиза-апа достает из возка узелочек с сахаром. Это она припасла для Зульфии. Но кусочков пяток можно уделить. Можно и пяток яичек дать. И хлебца.

— Салих! Шамсия! Подайте!

Ребята бегут к телегам, суют в руки арестантов хлеб, яйца.



Ребята... суют в руки арестантов хлеб, яйца.

— Спасибо! Спасибо, ребятки! — благодарно шепчут заключенные.

В хвосте обоза — телеги с солдатами, тарантас с жандармскими чинами...

У КАЗАКА

Наконец-то и заветный Яик — река Урал! На отлогом берегу уже стоят сотни палаток. Кто готовит обед, кто чинит обувь, одежду.

Подошел караван верблюдов. Погонщики развьючили животных. Верблюды, перегоняя друг друга, торопливо зашагали к реке. Войдя в нее, они становились на колени и, вытянув шею, припадали к воде. Они так долго пили, что Салих устал ждать.

— Гляди, гляди, Шамсия! — вдруг закричал он, показывая на верблюда, что был ближе к ним; изогнутая шея животного на глазах набухала, раздувалась.

— Еще бы! Он, поди, неделю не пил, а то и больше!..— сказала Шамсия.

Шея верблюда уже напоминала огромный бурдюк, наполненный кумысом, а животное продолжало цедить живительную влагу. Но вот наконец поднялось. А губы все еще тянули воду.

Когда ноги выпрямились, верблюд высоко поднял голову, медленно повернул ее в одну сторону, в другую. Долго стоял так, затем неторопливо стал выходить на берег.

Отец и Закир уже раскинули палатку. Салих и Шамсия, выбившиеся из сил за долгий путь, повалились на подстилку и заснули мертвым сном.

— Нет, нет, сейчас спать нельзя! — говорит Газиза-апа.— Отец! Закир! Будите их: пусть походят.

Закир растолкал Салиха, затем поднял Шамсию. Но ни тот ни другая уже не могут ступить и шагу: ноги их распухли, отекли, будто их налили водой.

— Ходите! Ходите,— приказывает мать,— иначе без ног останетесь!

Если не сделаешь разминки, набрякшие кровью ноги начнут синеть, чернеть: это антонов огонь называется. И можно в самом деле лишиться ног.

Закир на руках выносит из палатки ребят. Берет под мышки Салиха, ставит на ноги.

— Ой, больно! Ой, ма-ама! — кричит Салих.

— А что надо сделать, чтобы не плакать? — спрашивает Закир.

Салих сжимает челюсти и глядит вдаль.

— Правильно! Ну, а теперь шагаем.

Парень из соседней палатки ведет Шамсию. Когда ноги ребят поразмялись и боль немного ослабела, парень прикатил от своей палатки небольшую порожнюю тележку.

— А ну, впрягайтесь! Вон до того бугра довезете и обратно.

Салих берется за оглобли. Шамсия подталкивает тележку сзади. Нестерпимая боль в каждом суставе, будто кто-то вонзает в подошвы и щиколотки тысячи иголок...

Вечером Газиза-апа смазывает ноги Салиха и Шамсии бараньим жиром, долго растирает. За этим массажем мальчик и заснул. А когда проснулся, солнце уже заглядывало за полог палатки.

— Ну как, болят ноги, Салих? — спрашивает Шамсия.

— Малость получше.

— И у меня тоже.

Салих выходит из палатки. Народу на берегу видимо-невидимо. Мужики, бабы, парни, мальчишки... Все шумят...

Прискакал на вороном жеребце верховой. Щеголеватый, в чесучовом казакине, в хромовых сапогах, шаровары навыпуск. На голове тюбетейка из бархата. Это приказчик помещиков Хусайновых. Кокетливо перебирает поводья разгоряченного скакуна. Салих как глянул, так и замер: вот бы ему такого коня! Вырастет, обязательно приказчиком станет!

— Салям алейкум, работяги! — поздоровался приказчик с жнецами.

— Вагалейкум ас-салям! — хором ответили мужики.

— Как добрались? Не очень ли устали, идя к нам в гости? Милости просим. Мне надо двести серпов. Сегодня же можете приступить. Пшеница как шелк. Зеленовата местами, да не беда: дойдет в снопах. Зато жать хорошо—

мягко, легко,— бисером рассыпается приказчик, видно, весельчак и балагур.

— Какая цена? — спрашивают мужики.

— Цену называйте сами, а я поторгуюсь! — хохочет приказчик.

Съезжаются казаки из окрестных хуторов на хода́х — длинных кованых телегах, запряженных парой. Салих видит, как к отцу подошел казак, в синих шароварах с красными лампасами, в суконном казакине поверх белой рубахи.

— А ну, знаком, давай рядиться!

— Цену назови, потом посмотрим,— отвечает отец.

— Что цена! Конечно, выше помещиков платим! Харчи тоже не хуже ихнего. Хозяйка с невестками доит двадцать коров. Молока, масла детишкам будет вдосталь.

Отец и мать перешептываются. Потом отец говорит:

— Ну что ж, идет!

Отец и казак хлопают друг друга по рукам.

Казак достает из кармана своих широченных шаровар бутылку. Кричит девушке, сидящей на рессорном ходке:

— Эй, Машка, принеси что-нибудь закусить! А ты, апай, будь любезна, кружки нам,— обратился он к Газизе.

Маша принесла баранину, соленые огурцы.

— А еще что там дала на дорогу хозяйка? — спросил казак.— Неси все в палатку, пусть баранчуки подкрепятся. А коней распряги, напои и дай овса. Да живо! Поспешать надо: завтра в поле... А ты, парень, присаживайся к нам,— кивнул он Закиру, уголком глаз поглядывавшему на Машу.

На девушке были стоптанные яловые сапоги, ситцевая юбка, выгоревшая на солнце кофточка. Закиру показалось, что он где-то уже видел Машу. Особенно запомнилась ее длинная-предлинная коса, темно-русая, а в ней светлые прядки: словно золотые струйки стекают. Кем она доводится казаку? Неужто дочь? А почему же так плохо одета? Казак вон как разрядился, будто в гости собрался! А она...

Маша принесла в палатку каравай белого хлеба, сли-

вочного масла, завернутого в большой лопух, кусок баранины. Потом распрягла саврасых лошадей, что были впряжены в рессорный ходок. Повела к реке.

— Хозяин,— сказал Закир,— а гнедых я напою. Можно?

— А справишься? Они у меня не кони, а дьяволы гривастые!

Закир только улыбнулся в ответ. Он еще совсем мальчишкой купал алепатовских лошадей, когда конюхи приводили их на реку поить. Заплывал в самые водовороты, держась то за гриву, то за хвост коня. Мог поднырнуть даже под брюхо лошади.

Он быстро выпряг гнедых, вскочил верхом и понесся к реке.

— Ловкий хлопец! — одобрительно сказал казак. Его круглые бараньи глаза вдруг загорелись.— Слушай, знаком! Может, годка на два отпустишь его ко мне в работники? Одену, обую, как сына родного! На лето я еще пятьдесят десятин арендую у Хусаинова. Одному с сыновьями не управиться. Отпустил бы ты хлопчика, а?

— А я не отец ему: племянник он мне,— сказал Нигмет.— Да и оставаться ему у тебя никак нельзя.— Нигмет кивнул на палатку.— У него сестренка малая, сиротка...

Маша поила коней у берега. Закир с ходу влетел в реку, окатив девушку облаком брызг. Улыбаясь, Маша погрозила ему плеткой.

Когда кони напились, Закир подъехал к девушке.

— Давай и твоих напою. Там вода свежее.— Он передал гнедых девушке, а сам вскочил на саврасого.

Маша невольно залюбовалась: ловкий! Казаку не уступит!

— Спасибо,— сказала она, когда Закир вернулся.

— А чего это отец все тебя заставляет, а сам как барин?

— А он не отец мне, я батрачу у него.

— Вон оно что! — присвистнул Закир.— А чья ты? Откуда приехала?

Маша назвала город.

— Да-а? — изумленно протянул Закир.— Мы тоже оттуда! Из Тау-баши.

— А я из Верхних Выселок.

— Значит, земляки! Вот здорово! — обрадовался Закир...

Два года назад Маша пришла на берега Яика вместе со своей теткой. Степь стояла выжженная суховеями. И у помещиков, и у казаков жатвы было мало. Домой возвращаться было не с чем. Тетка уехала, а Маша нанялась к казаку в батрачки.

— Вы смотрите с ним ухо востро держите. Да не говорите, что мы из одних мест. А то он бог весть чего может подумать! — предупредила Маша.

Подвыпивший казак был веселым.

— Эй, Машка, запрягай! — крикнул он девушке.— А ты, знаком, снимай свой царский шатер,— кивнул он на палатку.— Будем укладываться.

За какие-нибудь полчаса все было готово к отъезду. В рессорную тележку Маши сели Газиза-апа с Зульфией, Шамсия. В телегу казака — Нигмет, Закир, Салих.

— Правь, я вижу ты хлопец ловкий! — Казак передал вожжи Закиру.— А мы с тобой, знаком, о житье-бытье потолкуем. Эй, Машка, трогай. С богом!

Отдохнувшие кони рванулись, сразу пошли спорой рысью.

Салих сидит в передке, рядом с Закиром. Дробно стучат подковами кони, клубится пыль, на ухабах телегу подбрасывает, того и гляди, вылетишь. Ну да Салих не боится — улыбается!

Дорога идет нескончаемой степью, бескрайним морем пшеницы. Тучные колосья тихо колышутся. Солнце уже перевалило за полдень и немилосердно жжет. Душный, пыльный зной дурманит голову. Мальчик клюет носом. А на передней подводе плачет Зульфия.

Маша остановила лошадей. Подъехал казак.

— Что случилось?

— Надо полог поднять,— говорит Маша.— У девочки кровь носом пошла от жары.

Казак достает из своей телеги две березовые

дуги, прикрепляет к ходку, накрывает холстинным пологом.

— Ну, теперь вольготно будет. И ты, суслик, лезь туда,— говорит казак Салиху.

«Суслик»! Салих хотел было обидеться, да не в обиду сказал казак: улыбается в свою курчавую, плотную, будто отлитую из чугуна бороду. Да и под пологом ехать одно удовольствие!

Салих перебирается на повозку Маши, садится в передке телеги. Маша трогает лошадей.

И снова степь и степь. «Куда это он нас везет? Как бы чего худого не было!» — с тревогой подумала Газиза-апа.

В хутор приехали уже ночью. Большим пшеничным караваем висела луна, и все было видно, как днем. Казак, видать, мужик зажиточный. Дом добротный, с просторными сенями, чуланом. За домом навес, овин, скотный двор — все под одной крышей. Перед окнами кладовая, около нее колодец. В летнее время на случай пожара в кладовой хранят зимнюю одежду, обувь, овчины, домотканые ковры и прочий скарб. На дверях кладовой полупудовый замок.

Из дому вышли два сына казака; оба, как и отец, рослые, чубатые.

Показалась хозяйка — степенная казачка в льняной вышитой кофте, в черном сарафане. Волосы подобраны в повойник.

Во дворе с хриплым лаем рвался на цепи огромный, с черной кудрявой шерстью пес.

— Цыц! — крикнул на него хозяин.— Давай, мать, собирай ужин. Щи-то у тебя с чем? С бараниной? — спросил казак, зная, что татары не едят свинину.

— С бараниной, с бараниной. Милости просим,— гостеприимно ответила казачка.

Газизе понравилась и забота самого казака, и гостеприимство хозяйки. Только сыновья глядели исподлобья, буками.

В СТЕПИ

Утром со двора выехали две подводы.

На большом кованом ходу, которым правит сам хозяин, бочка с водой, лагу́н[1] кислого молока, лагун пресного, жбан топленого масла. Только что испеченные, еще теплые караваи хлеба. Мука для салмы. К задку привязана Нигметова тележка.

На рессорном ходке — Маша с жнецами и их скарбом: палаткой, серпами, бешметами.

Застоявшиеся за ночь кормленые кони сразу переходят на спорую рысь. Хутор небольшой, дворов десять. На завалинке крайнего дома сидит в шубе, опершись подбородком о посох, старый казак.

— Здравствуйте, дядя Пантелей! — весело кричит ему Маша.

Приехали на поле казака.

— Гадюк много тут у вас? — озабоченно спросила хозяина Газиза.

— Нет, апай, нет. Нынче они перевелись у нас. Это раньше было много, когда балки сырые поблизости были. Ну конечно, лагуны с молоком заройте в землю подальше от палатки. Они, проклятые, ищут питье и, случается, заползают в палатку.

Салих и Шамсия испуганно переглянулись.

— Воду берегите,— продолжал казак.— Накажите своим баранчукам, чтоб не шалили водой. Тут ее взять негде. А я не скоро приеду.

Казак уехал. Нигмет-агай и Закир поставили палатку. Приступили к жатве.

Первым начал свой задел Нигмет-агай. За ним Закир. Потом Газиза-апа.

Взял себе делянку и Салих.

Шамсия осталась в палатке присматривать за Зульфией: она очень ослабла за дорогу. Шамсия и Салих будут жать по очереди.

Салих впервые на жатве, и дело у него ладится пло-

[1] Лагун — род бочонка.

хо. Он беспрестанно поглядывает, как жнут старшие. Всех быстрее и ловчее жнет отец. Левой ногой он нагибает стебли, подхватывает их свободной рукой, тотчас проводит снизу серпом — и целая горсть срезанных стеблей уже лежит на стерне. Мать тоже хорошо жнет. Но она очень утомилась с Зульфией в дороге, и у нее пока не так спорится.



Солнце поднимается над горизонтом все выше и выше. Жжет голову, плечи. У Салиха заломило спину. Пересохло во рту, хочется пить.

— Мама! Пусть Шамсия пожнет. Я посижу с Зульфией.— Салих идет к палатке.

— Ну как, хорошо жать? — с насмешливой улыбкой спрашивает сестра.

Салих что-то бурчит, бросает Шамсие серп. Та смеется:

— Ты думал, едешь калачи есть?

Солнце клонится к закату. Легкий ветерок приносит первую прохладу.

— Вот когда хорошо жать-то! — говорит Нигмет-агай. Рубаха у него вся мокрая от пота.— Мать, ты иди готовь салму, а мы с ребятами еще поработаем.

Уже было почти темно, когда Газиза-апа позвала ужинать. Наскоро поев, Салих лезет в палатку. Ложится и Шамсия. Газиза-апа качает на руках больную Зульфию.

Тихо. Кругом ни огня, ни человеческого голоса. Нигмет-агай и Закир лежат около палатки. С ними коса, кистень и топор на случай нападения шакалов.

Когда луна взошла, Нигмет-агай тихо, чтобы не потревожить Закира, встал, взял серп и снова ушел жать. Надо спешить: если летом не заработаешь, на зиму надежда плохая. А дети разуты, раздеты.

Занимается заря. Нигмет возвращается к палатке. Газиза уже встала, готовит завтрак.

Проснулся и Закир.

— Нигмет-абзый! Почему же мне не сказал? Один ушел?

— Я старый конь, а ты еще наработаешься.—Нигмет-агай будит детей: — Дочка! Сынок! Пора вставать.

Салих едва поднялся: каждая косточка ломит, болят исколотые стерней руки. И зачем он поехал! Остался бы с бабушкой Сэрби. С Федькой щепки бы на свалке собирал...

В конце недели день выдался такой жаркий, что нечем было дышать. У Нигмета на рубахе серыми пятнами выступила соль.

Салих бежит к палатке окатиться водой. Бочка уже наполовину пуста. Ну да послезавтра приедет казак, привезет свежей. Неожиданно бочка соскользнула с камней, вырвалась из рук и упала набок. Салих замер от ужаса.

Пришла посмотреть больную Зульфию Газиза-апа.

— Аллах мой! Что ты наделал? — всплеснула руками мать.

Салих бросился в степь.

— Ах шайтан! Чтоб ты споткнулся на ровном месте. Ну, приди в палатку!..— Газиза-апа позвала мужа: —

Погляди, что натворил твой любимец! Как я буду варить салму? Чем поить больную девочку?

Нигмет-агай подозвал Салиха.

— Я знаю, ты не нарочно это сделал. Так зачем же ты сбежал? Так поступают только трусы.

Он долго всматривался в степь. Далеко на горизонте темнел тальник. Наверное, там болото. Подошел Закир.

— Закир, возьми ведро и чайник. Иди туда с Салихом, ищите воду. Захватите лопату и ковш. Если болото пересохло, ройте колодезь, но без воды не возвращайтесь!

Закир и Салих уже целый час бродили по высохшему болотистому дну балки, заросшему тальником. Но воды не было.

— Закир, смотри! — воскликнул вдруг Салих.— Собаки бегали.

На высохшей грязи четко виднелись отпечатки звериных лап.

— Да-а,— протянул в раздумье Закир.—С этими кривозубыми собачками я бы не хотел повстречаться! А вот следы их — добрая примета: где-то поблизости должна быть вода. Приходили на водопой.— И он быстро зашагал по следам шакальей стаи.

— А если мы на них наткнемся? — прошептал Салих, едва поспевая за братом.

— Не должно: они не любят болота. Приходят только напиться. Следы сухие — значит, давно ушли.

Чахлые, редкие тальники низко клонили вялые ветки к потрескавшейся земле, словно молили дать им хоть капельку влаги. Вдруг на ребят пахнуло прелым запахом. Закир остановился. Далее идти нет смысла: вода высохла по всей балке. Надо копать яму здесь.

Закир быстро заработал лопатой. На аршинной глубине яму стала заполнять зеленовато-мутная вода.

— Есть! — обрадовался Салих.—Давай попробуем.— Он почерпнул ковш, отпил глоток.— Ух и вонючая же! И сор какой-то...

— Это личинки. Ничего, дома процедим, кусочек нашатыря бросим — сойдет!

Они наполнили ведро, чайник и едва отошли, как, почуяв воду, стремительными зигзагами к яме подполз уж. А вслед за ним осторожно пробиралась гадюка. Она то и дело останавливалась, поднимала над сухой травой клинообразную блестящую головку, разевала пасть и выпускала извивающийся волосок язычка...

ЧТО ЗАДУМАЛ КАЗАК?

Уже много недель ждала семья Нигмета на полях казака. Дни стали короче, ночи прохладнее. Слышалось прощальное курлыканье журавлей, летящих на юг. «Га-га-га...» — переговаривались гусиные стаи. Они тоже готовились к отлету. Спускались на еще не убранные овсы, до отвала наедались, тяжело летели на ночевку к ближайшему болоту. А с ранней зарей шумно снимались, долго кружили, поджидая отставших, и, когда собирались все, вожак выходил вперед, и трепыхающаяся узловатая ниточка медленно таяла в утренней мгле.

Прошедшие грозовые с ветром дожди так перепутали овес, что не знаешь, с какого боку подступиться серпом к стеблям. Первой порезала руку Шамсия. Газиза-апа с трудом остановила кровь. Она обмазала палец дочери земляной жижей, замешанной на крови, и обмотала паутиной. Только бы не учуяли кровь шакалы. Эти коварные хищники разрывают на клочки даже друг друга, когда учуют кровь у своего же собрата.

Рядом с овсом у казака было просяное поле. Просо жать хорошо: солома мягкая, снопы вязать легко, заноз не бывает. Нигмет-агай отвел жену и детей на просо, а сам с Закиром стал дожинать овес.

— Засорится глаз — не трите! — предупреждает детей Газиза-апа.

При ветре от метелок проса летит мякина. Тонкая, легкая пленочка попадает в глаз, прилипает к роговице, въедается в нее. Течет слеза. Ты то и дело вытираешь глаз рукой или рукавом. Скоро глаз становится красным, начинает гноиться, а дня через два-три уже ничего не видит.

Недаром предупреждала Газиза-апа!

Не прошло и двух-трех минут, как Салих закричал:

— Мама! В глаз что-то попало!

— Скорее, скорее к палатке!

Там Газиза-апа выворачивает Салиху веко и прямо из носка чайника промывает глаз. Облизывает глазное яблоко кончиком языка, снимает с роговицы еще не успевшую впиться соринку. Показывает детям:

— Видите какая? Недолго и ослепнуть... Ой, когда же кончатся эти терзанья!..— вздыхает Газиза-апа.

Ночь.

Места глухие, кругом ни души. Слышно, как отрывисто тявкают в балке шакалы. Нигмет-агай и Закир спят, не выпуская из рук топора и кистеня. Газиза-апа не смыкает глаз. Где же казак? Почему он не везет расчета? Им пора домой. Все оборвались. На Салихе вместо рубашки дырявая торба. Ее уже нельзя чинить: не держатся заплатки. Порвалось все платье и у Шамсии. Разбились лапти, и не осталось ни одного лыка, чтобы починить. Где же хозяин? Чего он задумал?

Казак заявился совсем неожиданно. Под вечер.

— Извиняй, знаком. Еще на той неделе хотел рассчитать тебя, как и был уговор. Да дела задержали... Ну, сколько ты тут сверх положенного убрал?

Он долго измерял сжатое поле, как будто нарочно оттягивая время дотемна. И была уже ночь, когда он вернулся к палатке, веселый, разговорчивый.

— Ну, спасибо тебе, знаком, за труд. Добрый ты работяга. И апай тоже. Ну, а парню просто цены нет!.. Хорошо подзаработали. Ни одна семья не выгребала у меня столько денег.— Он достал кожаную сумочку, похожую на кисет. Отсчитал золотые десятирублевки.— Держи. Да спрячь подальше от недоброго глаза... Заночуете здесь, а завтра вам по той дороге через балку направо, и прямо большак на Оренбург. К реке Яик!

ПОГОНЯ

В эту ночь Маша легла во дворе, под навесом. В доме было душно, а у нее разболелась голова. Она еще не заснула, когда вернулся из степи казак. Почему-то он не

стал распрягать лошадей. Из дома вышли сыновья. Григорий спросил:

— Ну что, батя?

— Сто с лишним целковых отвалил басурману. Показал я ему дорогу через сырт. Заедет в лагуну, там мы и возьмем его за жабры.

— А может, папаня, сразу на месте? — сказал младший, Оська.—А то снимется по другой: ищи ветра в поле!

— Да ты совсем, парень, недоумок! — вспылил казак. И, словно испугавшись своего же голоса, жестко зашептал: — Нешто можно на своем поле? Сразу подозрение. Кандалы — и в Сибирь!.. Ну, вот что: дайте своим саврасым рубленого ячменя... Я своих распрягать не буду: им повесьте торбы. Как вторые петухи пропоют, поднимемся. Кистени приготовьте сейчас, чтобы не забыть.

Григорий и Оська задали коням корму и тоже ушли в дом.

Маша прислушалась. Тихо. Слышно лишь, как жуют ячмень лошади, позвякивает цепь Полкана, вычесывающего блох из своей курчавой шерсти, да гулко стучит ее собственное сердце. Маша встает, тихонько выходит со двора и бежит к околице хутора, к дяде Пантелею. Только он один может помочь. Казак приходится ему племянником. Дядя Пантелей не раз заступался за Машу:

«Мотри, Тимофей, не обижай сироту! Хоть и гроза ты всему хутору, да мне все едино в могилу скоро собираться. Пущу красного петуха — и все твое добро по ветру пойдет. На чужом горе нажил ты его!»

Дядя Пантелей был единственным человеком в хуторе, которого боялся хозяин. Маша подбежала к дому, тихонько постучала в ставни:

— Дядя Пантелей! Это я, Маша. Выйдите на минутку!

Дед вышел. Маша рассказала о замысле казака.

— Ах кровопийца, ах разбойник!.. Надо сына Антошку с внуком поднимать да запрягать лошадей...

А уже через четверть часа по степи громыхала кованая телега. Кони стремительно несли Антона и его сына Никитку к Дальнему сырту...

Газиза-апа еще издали услышала конский топот и громыхание повозки.

— Отец! Отец!.. Да проснись! Кто-то едет. Не казак ли?.. Ох, быть беде!

Нигмет-агай вскочил, заслышав тревожный голос Газизы; поднялся и Закир. Прислушался. Топот коней и грохот телеги ближе и ближе. Закир вспомнил, как его предупреждала Маша: «Вы с этим казаком ухо востро держите!»

Закир схватил кистень и выскочил из палатки. Нигмет-агай взял топор.

Подъехала телега. При свете луны было видно, как со взмыленных коней грязно-белыми ошметками падает пена. С телеги соскочили двое. Один таких же лет, как Нигмет-агай, другой чуть постарше Закира.

— Не подходи — убью! — подняв топор, закричал Нигмет.— Живым не дамся: лучше подобру-поздорову уезжайте.

— Эй, знаком, не за того принимаешь меня! — сказал старший.— По доброму делу приехал. Опусти топор, каждая минута дорога! Собирай пожитки — да ко мне в телегу: провожу до Оренбургского тракта.

Нигмет, не опуская топора, вопросительно уставился на Закира.

— Слушай, парень! — заговорил молодой казак.— Не теряйте время: худо может быть! Маша Морозова просила передать, что... — Он не закончил фразы, как Закир все понял: их казак задумал что-то недоброе.

— Нигмет-абзый, собираемся!

Казаки подошли к палатке.

— А ну быстро! — торопил старший.— Никитка, помогай!

Через несколько минут все было погружено, тележка Нигмета привязана к задку кованого казачьего хода.

— Сажай, апа, детей и сама садись половчее: дорога тряская. А ты, Никитка, следи за костром. Как рассветет, погаси и иди в тальники к нашему полю. Я за тобой заеду. Да смотри не засни: держи огонь до зари! — повторил казак.

— Не засну, батя. Я понимаю!

Казак хлестнул лошадей. Кони рванули и понеслись по степи. А там, где только что стояла палатка, золотым столбом поднималось в звездную высь пламя.

Дорога то взбегала на холм, то спускалась в лощину, заросшую тальником. Когда лошади шли шагом и телега не громыхала, слышался короткий, отрывистый лай.

— Закир, это шакалы? — спросил Салих, цепко держась за борт хода.

— Они,— ответил за Закира казак.— Ишь как подлаивают! Это они детенышей приучают тушканчиков выманивать из нор. Подлый зверь: своего же брата не пожалеет — растерзает. Упадет, ослабнет который, вся стая ходит вокруг, обнюхивает. Потом заляжет поодаль, ждет: не сдохнет ли? Да терпенья не хватает: начинают понемногу подползать, а потом как разом набросятся... Еще живого на клочки разрывают. Вот какие их повадки! Таков и Тимофей,— сказал казак, обращаясь к Нигмету.— А то чем богатеет он? Вот у меня сын, свояк, зять; спины не разгибаем от зари до зари, бывает и ночи прихватываем, а концы с концами не можем свести...

Уже занималась заря, когда поднялись на последний сырт. А скоро показалось и солнце. Ослепительно засверкал Яик. По Оренбургскому тракту ехали ямские и почтовые тройки. Тянулись обозы.

— Ну, тут вы доберетесь сами.— Казак остановил лошадей.

Нигмет-агай достал десятирублевый золотой.

— Убери, знаком,— строго сказал казак.— Нешто за помощь в беде можно брать деньги? — И он повернул лошадей.

Оренбург лежал в утренней дымке, когда возок Нигмета выехал с проселочной дороги на тракт. И в это же время, будто вынырнув из-под земли, к тракту подкатили гнедые казака Тимофея. За ним, на взмыленных саврасых, его сыновья.

— Точно, он! — кивнув на Нигмета, сказал сыновьям Тимофей.— Видали, Антошка Пантелеев возвращался. Его дело! — Казак зло сплюнул, закричал на сыновей:— Чего уши-то развесили! Поворачивай! — и в сердцах хлестнул бичом по гнедым...

Весело катилась тележка по Оренбургскому тракту. Приветливо раскачивались ветви берез. Все ближе и бли-

же город, родная слобода Тау-баши. Вон видна Юрэк-тау, гора-девушка.

— Здравствуй, Илькенэй! — шепчет Шамсия. — Я так соскучилась по тебе!

Салих в своей рубашке-торбе несется впереди, лишь сверкают черные пятки. Ему не терпится увидеть дружков — Федьку, Гошку, Альку... А Закиру — встретиться с Петром Григорьевичем. Неужто и верно пронюхали про их дело? Не были ли жандармы у него в землянке?

По совету Нигмета, он спрятался в Чертовом овраге и только с темнотой пришел в Тау-баши...

ЗАЙТУНЭ-АБСТАЙ

По слободе из дома в дом, с большим узлом, в нарядном шуршащем платье, ходит коробейница Зайтунэ́-абста́й. Зайтунэ-абстай на все руки мастерица — и товаром торгует, и лечит, и шаманит. Зайтунэ-абстай знает, когда прийти. Жнецы только что вернулись из степи, и тут не зевай!

Зайтунэ зашла к Газизе. Собрались соседки. Коробейница ловко раскинула товар на широких нарах. И чего тут только нет! Цветастые ситцы на платья. Саржа для вышивки цветным тамбуром, гарусом. Бархат для отделки платьев. Кумачовые и белые в цветах платки... Правда, товар лежалый, изрядно поистлевший в лавках баев. Но на то и коробейники, чтобы сбывать залежалый товар. А Зайтунэ-абстай дерюги за персидский ковер выдает. Другой такой коробейницы во всей округе не сыщешь. Приторговывает Зайтунэ и бакалеей. Чай всех сортов — и рассыпной, и в плитках.

— Вот силунь-чай, цейлонский. Вот инда-чай, вот китай-чай. Густота, аромат! — Зайтунэ раскладывает свою «бакалею» на нарах и лавках. Женщины берут чай, нюхают.

Шамсия шепчется с матерью. Говорит коробейнице:

— Зайтунэ-абстай! Мне канители и бисеру для вышивания.

— Есть, есть, моя красавица! Я же знаю, какие ловкие мастерицы девушки в Тау-баши. Бери-ка, милая!

Газиза-апа покупает ситцу на платье Шамсие. Кумачу на рубашку Салиху. Себе платок.

Шамсия видит уже себя в новом платье. Как она пойдет в нем в школу. Мама обещала еще сшить новый бешмет. А зимою, когда будет ураза́ байра́м — праздник после поста,— она пойдет с подругами по домам поздравлять с праздником. И все будут любоваться ее новым платьем.

— Зайтунэ-абстай! А нет ли у тебя чего от сглаза? — спрашивает соседка Камиля́-апа.— Третий день дочка криком кричит. Животом мучается.

— От головы вот есть.— Зайтунэ-абстай снимает платок, отвязывает от волос бюти — зашитую в тряпочку молитву от головной боли.— А от живота нет. Ну, да я сейчас сделаю, пока вы выбираете товар.— Она моет над тазом руки, достает что-то из ящичка, забирается на нары, садится, подобрав ноги калачиком.

— Газиза, дай-ка мне, милая, блюдце с теплой водой.

Она кладет в блюдце кристаллик нашатыря. Шепчет что-то над ним, то и дело поплевывая в блюдце, помешивает пальцами. Когда кристалл растаял, Зайтунэ-абстай слила раствор в чашку.

— Вот, напои на ночь, а утром всю боль как рукой снимет!

Распродав товар, выпив самовар чаю, Зайтунэ-абстай уходит.

В этот же день Закир встретился с Баруздиным. Петр Григорьевич рассказал, что уфимский шпик уехал ни с чем.

— Хотела щука ерша скушать, да губку уколола! — весело говорил Петр Григорьевич.

„УБЕЙ ПАУКА!“

Зима была суровая—морозная, метельная. Как утлые затонувшие суденышки, лежали на дне снежного моря избушки и мазанки Тау-баши. С весной, когда наступил сезон мытья и сушки шерсти, изголодавшаяся слобода —

старые и малые — потянулась опять на завод Алепатова.

Федька сзывал свою ватагу — Салиха, Альку, Гошку, Саньку, Талгата.

Дни стояли солнечные, шерсть сохла быстро. Ребята то и дело переворачивали ее. Поднималась белая известковая пыль и туманом повисала над берегом. Лезла в горло, застилала глаза. Ребята исходили от кашля. К концу второй недели Федька начал харкать кровью. У Альки заболели глаза, и он уже больше не выходил на работу.

— Лодырь! — бранился Федька, сплевывая тоненькой струйкой розоватую от крови слюну.— Ежели сейчас не заработаешь, чего зимой будешь жрать? На жатву не надейся. Может такой суховей налететь — ой-ёй-ёй! Все до былинки сожжет! А то саранча налетит,— говорил хозяйственный и рассудительный Федька.

А тем временем Алька метался на нарах от страшной рези в глазах. Зимой Алька заболел трахомой, и известь разъела веки. Глаза налились кровью, гноились. Мать позвала бабушку Сэрби, та делала Альке примочку. Мало-помалу боль утихла, но словно какой-то паук заткал-затянул глаза паутиной. Алька то и дело проводил по ним рукою, но паутина не спадала, а с каждым днем становилась все плотнее.

— Мамка! Это, наверно, ночью паук застилает мне глаза своей паутиной.— И Алька, ложась спать, завязывал глаза материным платком. Но паук, видать, пробирался и через платок: паутина на глазах становилась все плотнее.

— Мамка! — сердился Алька.— Убей паука! — и сам помогал матери отыскать злодея, натыкаясь на чурбаки, скамейки, печку.

Скоро Алька совсем перестал видеть. В глазах стоял белесый туман. К вечеру он сгущался.

Федька, прослышав про Алькину беду, со всей компанией пришел навестить друга.

Алька сидел на нарах, поджав под себя ноги. На коленях у него была миска с тюрей. Алька смотрел на миску, но рука тыкала ложкой мимо.

Услышав, что кто-то зашел, Алька вскинул голову, настороженно застыл, глядя прямо на дверь.

Ребята замерли. Федька, на что уж отчаянная голова, и то испугался. Раньше у Альки глаза были синие-пресиние, а теперь будто вместо глаз ему вставили оловянные пуговицы.

Алька вытянул шею, рука с ложкой не шевелилась.

— Кто это? Ты, мама? — спросил он.

— Это мы... Здорово, Алька! — сказал Федька и шагнул к нарам.

Алька узнал голос Федьки. Губы его растянулись в виноватой улыбке. Тонкое бледное лицо зарозовело.

— Что это у тебя с глазами? — спросил Федька, подсаживаясь к Альке на нары.

— Не знаю...

— Меня ты видишь?

— Не-е... Ничего не вижу.

— Ничего-ничего? — поразился Федька и, вспомнив, как ругал Альку лодырем, потупился.

— Когда солнышко, чуточку свет вижу... Бабушка Сэрби траву какую-то хотела отыскать. Богатая трава! Опять, говорит, глазки твои будут, как небушко, ясные. А мамка в церковь пошла: бога просить... А вы чего делаете?

— На лесопилку ходили щепки собирать. А нынче в Чертов овраг по ягоды пойдем. Говорят, земляника уже совсем красная. Айда с нами!

— Я же ни ягодки не увижу.

Федька прикусил губу. Как это он не сообразил! Больно уж привыкли всей компанией бродить, вот и ляпнул!

— Ладно,— сказал он,— мы тебе сами принесем! Ты только не тужи: бабушка Сэрби... она все травы знает! Обязательно глаза будут глядеть... Ну, покедова! Мы к тебе заходить будем,— пообещал Федька.— А как станешь глядеть, опять с нами...

Но каких бы трав ни приносила бабушка Сэрби, как ни молила мать бога, Алька остался слепым.

— Жди его, поможет! — сердито сплевывая, говорил Федька Салиху.— Больно надо ему! Сидит на небе да семечки, поди, лузгает. Что наш бог, что ваш аллах — все едино. Мамка тоже молила-молила нашего бога, чтоб горб у меня не рос. А он вона прет и прет!



Старик шел, приподняв голову. Впереди семенила... Анютка. По левую руку шагал... Алька.

Алька целыми днями сидел дома. Иногда забегали дружки, вели на реку. Потом Алька сам запомнил дорогу и стал ходить даже к Федьке за мост.

Мать брала Альку с собой на базар в город. Ходила по слободам побираться.

— Пожа-але-ейте калеку-сиротку... — тянула мать.

— Пода-айте слепенькому на пропитание...— тоненько вторил ей Алька.

Однажды под вечер в Тау-баши раздались печальные звуки шарманки. Посреди пыльной улицы шли слепой старик и девочка лет девяти, с бельмом на глазу.

Старик появлялся в Тау-баши каждый год. В одно и то же время. Потом куда-то уходил и снова появлялся лишь на следующее лето, когда возвращались из степей жнецы.

Уныло пела шарманка, низким, хриплым голосом тянул слепец, тоненько подпевала девочка, и казалось, что это стонет и плачет Тау-баши.

Люди выходили из мазанок, землянок и клали в руку девочки кто ломоть хлеба, кто кусочек сахару, кто копейку.

Каждый раз старик останавливался в Тау-баши на ночлег. В этот раз его пригласила к себе Алькина мать. Поведала о сыне. Старик заставил Альку выучить песню и спеть.

Голос у Альки чистый, переливчатый, словно у жаворонка.

Старик долго думал, уставившись незрячими глазами в одну точку.

— Вот что, малый,— сказал он.— Пойдем-ка со мной по белу свету. Что на шее-то у матери сидеть? И нам с Анюткой веселее будет. Узнаешь людское горе, и у тебя на душе полегчает: не один ты такой горемыка на белом свете. Стоном стонет народ... И песня у нас с Анюткой будет лучше ладиться с твоим голосом. А уж Афанасий не обидит: животную тварь в жисть не обижал, а не токмо человека... Ну как, хозяйка, отпускаешь мальчонку?

Мать задумалась: жалко, да делать нечего; пока она жива, худо ли хорошо ли, кормятся. А умрет, как он будет один?

Весь следующий день Альку готовили в дорогу. Дядя

Нигмет сплел новые лапти. Бабушка Сэрби принесла кусок мешковины. Из нее мать сшила Альке длинную сумку для подаяний. И еще небольшую под пересменку белья. Федька подарил Альке свой старый заячий треух. «Померь!» У Федьки голова как котел: Альке шапка нахлобучилась по самые брови. «Ничего! — сказал Федька.— Зато знаешь зимой в ней будет как тепло!» Закир отдал материно платье. Из него Альке сшили две рубашки. Одну он сразу надел, другую положил в сумку.

На следующий день Альку провожали в странствие. Собрались все его дружки: Федька, Гошка, Санька, Салих, Талгат. Забежал на минутку Закир. Тряхнул за плечи уже готового в дорогу Альку:

— Ну, держись молодцом! Ждать тебя будем. Присматривайся ко всему хорошенько! Вернешься, расскажешь.

— Я ж ничего не вижу...— смущенно промолвил Алька.

— Что ж из того? — вступился Афанасий.—Иной зрячий слепее слепца. Глаза незрячие — разумом смотри.

Закир попрощался со стариком и торопливо ушел: у него было задание от Петра Григорьевича — срочные дела в городе.

— Ну, пора и нам,— сказал Афанасий, прилаживая на плечо шарманку.

Вышли за околицу. Мать обвила руками Алькину шею, заголосила.

— Не тревожь, не береди душу малому. Слезы перед дорогой — плохое напутствие,— сказал Афанасий, хмуря лохматые брови. Он нащупал руку Альки.— Ну, всем вам здоровья!.. Анютка, где ты? — Девочка подошла к слепцу. Афанасий положил на Алькино плечо свою сухую длиннопалую руку.— Ну, с богом!

Старик шел, приподняв голову. Впереди семенила босоногая Анютка. По левую руку шагал в новых лаптях Алька. Холщовая сумка для подаяний свисала почти до пят.

Странники удалялись все дальше и дальше, а ребята продолжали стоять. Анютка и Алька стали совсем уже

маленькими, словно шагающие куклы, и только долго еще маячила высокая фигура Афанасия. Но вот и она стала величиной с куклу, а Алька и Анютка превратились в темные точечки. По тракту пронесся пыльный вихрь, и точечки скрылись в его мгле.

— Айда,— тихо сказал Федька.

Ребята ушли, а мать все стояла и стояла, хотя уже до самого горизонта ничего не было видно...

„ЗДРАВСТВУЙ, МАША!"

Закир возвращался с работы. Сегодня была получка, и он зашел в лавку Зверевых, купил Газизе пшена, чаю, сахару. Сестренке Зульфие пряников, Салиху и Шамсие по калачу. И теперь шел, то напевая, то насвистывая.

Вдруг взгляд его задержался на идущей впереди девушке. Ее ладная фигура, и особенно коса — русая, с золотистыми прядками-струйками,— была такой знакомой! Неужели Маша? Он забежал вперед, оглянулся: она! Но что с ней? Была такая круглолицая, сквозь степной загар проступал густой румянец. А теперь щеки ввалились, скулы обтянуты кожей. А глаза задумчивые, печальные.

— Здравствуй, Маша!

Девушка от неожиданности вздрогнула.

— Совсем приехала или погостить? — спросил Закир.

— Совсем.

— А сейчас куда идешь?

— К тете. В Верхние Выселки.

Ему надо было сворачивать в другую сторону, но так хотелось поговорить с Машей! С ней явно что-то случилось. Может, надо в чем-то помочь?

— В Верхние Выселки? А мне нужно зайти к одному человеку. Как раз по пути.

Они миновали мечеть, с минарета которой муэдзин созывал правоверных на вечернюю молитву. Свернули на узенькую пыльную улочку. Огромная свинья, блаженно прикрыв глаза, растянулась прямо посреди мостовой. Розовые поросята толкались у ее сосков, дрыгая штопорами хвостиков. Сердито бормоча, прошел индюк, явно недовольный таким поведением свиньи.

— А что ты сейчас делаешь? — спросил Закир.

— Пока ничего... Работу ищу.

— Слушай, Маша! У меня есть знакомый человек. Он поможет тебе найти дело.

— Спасибо, — прошептала Маша, и глаза ее разом посветлели.— Как тогда добрались до дому?

— Хорошо!.. Спасибо тебе, а то кто знает, что могло бы случиться. Мы бы, конечно, с дядей так просто не сдались.



Маша рассказала, каким зверем вернулся из погони казак, как грозил потом деду Пантелею и его сыну. И ей, Маше, житья не стало. Она сбежала в Оренбург. Год моталась там по богачам: у кого нянчила, у кого была прачкой. Потом вернулась сюда, в родной город. Да вот никак не найдет работы, а у тети у самой трое детей, впроголодь живут.

— Будь спокойна. Петр... В общем, все будет в порядке! А пока возьми вот это.— Он сунул в руки Маше пакеты.— Вот еще полтинник возьми.

Девушка потупилась.

— Боюсь я... Тетя может подумать плохое.

— А ты расскажи все как есть. Твоя тетя человек рабочий, бедный. А бедняк бедняка всегда поймет,— веско сказал Закир, как не раз говорил ему Петр Григорьевич, посылая с поручением к рабочим то в барак Алепатова,

то на лесопилку.— Это сытый голодного не разумеет.

— Спасибо,— благодарно прошептала Маша.— Я обязательно отдам, когда заработаю.

Они договорились встретиться через три дня.

...Закиру казалось, что он не идет, а летит на крыльях. Не заметил, как поднялся на кручу... В тот же вечер он встретился с Петром Григорьевичем. Рассказал о Маше Морозовой.

— Хорошо! Нам очень нужен человек, и именно девушка. Очень кстати! Спасибо, дружок! — обрадованно говорил дядя Петро.

Баруздин продвигал дело и в степные села уезда. Поэтому одним из узлов связи Петр Григорьевич избрал постоялый двор в Верхних Выселках, что на Оренбургском тракте. Его хозяйка Анфиса вела дело бойко. Под ее крышей находили приют честный люд и жулики, конокрады и казнокрады, проезжие купцы и босяки, бродячие музыканты и беглые каторжники. Всех привечала тетка Анфиса: деньги не пахнут! А когда с проверкой на постоялый двор приезжал сам пристав, тетка Анфиса вела его на «чашку чаю», а тем временем работник Степан провожал неблагонадежного гостя через задние ворота. И за многие годы у тетки Анфисы не было ни одного чрезвычайного происшествия.

К ней-то в племянницы, как окрестила девушку сама хозяйка, и устроили Машу. А уже через некоторое время отъезжающие со двора тетки Анфисы обнаруживали в возу, а то и в рукаве тулупа печатный листок, в котором рассказывалось о тяжелой жизни крестьян и рабочего люда, о зверствах помещиков и заводчиков...

ГОСТЬ ИЗ УФЫ

Уфимские товарищи сообщили Баруздину, что к ним из Уфы едет нужный человек. Петр Григорьевич вызвал Закира и поручил ему подготовить встречу.

...С мешком за плечами Закир шел в Верхние Выселки. Солнце уже село, когда он оказался у окраинной мазанки. Постучал в ставни, в сенях лязгнула щеколда.

— Кто там?

— Это я!

— А, проходи!

Закир вошел в мазанку, его обдало пахучим мыльным паром.

— Здравствуйте, тетя Поля! Картошки вам принес, а кстати и бельишко грязное постирать.

— Можно, можно,— лукаво подмигнула тетя Поля, откидывая с глаз тыльной стороной ладони мокрую прядь волос.

— Клиентов нет?

— Застольные только.— Тетя Поля кивнула на детей, спящих вповалку на лежанке.— Скидывай. Не бойся!

Закир развязал мешок, высыпал картошку. Достал узел грязного белья. Развернул — там была пачка листовок.

— Передайте Маше и скажите: в четверг у них остановится человек. Если спросит: «Девушка, где у вас тут можно белье постирать?», пусть она приведет его сюда. К вам придет еще один человек...

— Тоже постирать? — улыбнулась тетя Поля.

— Точно! — рассмеялся Закир.

Здесь, у Машиной тетки, и состоялась первая встреча Баруздина с приехавшим из Уфы товарищем. А на второй день приезжий уже пришел вместе с Баруздиным в барак Алепатова, к знакомому Петра Григорьевича—дубильному мастеру Хаки́му Аллая́рову.

Хаким, в кожаном, изъеденном кислотой и вымазанном охрой фартуке, возился с оловянным самоваром. И руки и даже кисточки вислых усов старика, пропитанные дубильными веществами, тоже были желтые.

— А, Петр Григорьич! — обрадовался старик.— Салям алейкум!

— Познакомьтесь,— кивнул Баруздин на спутника.— Мой двоюродный брат. Погостевать приехал. Взяли косушечку, я и говорю: сходим к моему старому приятелю Хакимычу.

— Мудро! — заключил старик.— Сейчас наладим самоварчик...

Гость огляделся. Вдоль стен барака, из конца в конец, тянулись сплошные дощатые нары. Кое-где они бы-

ли отгорожены ситцевым пологом. «Каморки для семейных»,— догадался приезжий. Там и тут на досках, застланных тряпьем, спали рабочие, пришедшие с ночной смены. Неподалеку от Хакима, под нарами на рогоже, брошенной прямо на земляной пол, спала, разметав ручонки, лет пяти девчушка. Около нее лежал кусок калача, стояла кружка с водой.

— Хворает,— сокрушенно кивнул Хаким.— Мать ушла на смену, дите осталось одно. Собачья жизнь! Щенку в иной конуре вольготнее, чем нашим ребятам.

— А почему она лежит на полу? Почему не на нарах? — спросил приезжий.

— За нары надо платить, мил человек. Ежели мать положит днем ее на нары — плати двойную плату. А где ей взять?

Доски на нарах были пронумерованы: семейным полагалось четыре доски. Холостякам по две. Хаким был одиноким и, как холостяк, занимал две доски. Под потолком в мешке висел его нехитрый скарб: зимняя одежда, белье. Под нарами — деревянный сундучок на замке.

Приезжий подошел к девочке, пощупал лоб: «Жар!»

— Петр Григорьевич, помогите, пожалуйста, мне.— Они осторожно взялись за концы рогожи и положили девочку на нары...

Вскипел самовар. Хаким открыл сундучок, достал кусочек сахару, поделил его на троих. Разрезал ржавую селедку. Достал краюху хлеба.

— Уж прошу не обессудить,— сказал он приезжему.— Хлебушек алепатовский: мякина пополам с лебедой. Кинь в печь — как кизяк, загорится.

Хаким одолжил у соседей две кружки, третья своя. Баруздин разлил водку. Выпили. Закусили.

— А обедать милости просим к нам на завод. Отменный харч! — Хаким хитро подмигнул Баруздину.— Хозяин наш дюже старается. Говядины мало — тухлятины добавит. Осенью на бойне у Банниковых неуправка. Туши гниют в штабелях. Ну да Банникову не велика печаль: Алепатов возьмет. Рабочий человек съест! Вот так-то, мил друг,— выдохнул Хаким.

Приезжий, сдвинув брови, о чем-то думал...

ВАЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Нигмет Ахметшин вернулся сегодня с завода необычно рано. И такой усталый, расстроенный, каким Газиза-апа редко его видела.

— Отец, что случилось? — тревожно спросила она.

Нигмет-агай молча повесил на крюк бешмет. Устало опустился на чурбак. Газиза не сводила с него тревожно-вопросительного взгляда.

— Мастера Хакима Аллаярова заводчик толкнул в чан с купоросом,— выдохнул Нигмет.

— Аллах мой! — всплеснула руками Газиза.— Что же это он, зверь, делает? Да когда же на него найдется управа?

Салих соскочил с нар, затеребил отца:

— Пап... а за что он его? За что?..

Брат заводчика, Игнат Алепатов, привез из Москвы новый рецепт протравки кож и приказал Хакиму заложить новым способом три чана. Кожи вышли браком: будто изрешетил их кто дробью. Заводчик пришел в бешенство. Боясь немилости брата, Игнат сказал, что виной всему недосмотр мастера. Разъяренный хозяин в сердцах толкнул Хакима, тот споткнулся о загородку и упал в чан.

Когда старика вынули, он был уже мертв.

Узнав о случившемся, рабочие побросали работу и разошлись по домам. Нигмет-агай решил зайти к Петру Григорьевичу, рассказать о Хакиме. Но постоялец переехал на новую квартиру, а куда — хозяйка не знает.

В эти дни Баруздина видели то в чайной, то на базаре, то в бараке Алепатова. А где он работает, никто не знал. Но Нигмет-агай понимал, что Петр Григорьевич занят их рабочим делом. Говорят, в городе объявился еще какой-то человек. Тоже заступается за рабочих.

Поздно вечером к Нигмету забежал Закир. Шепнул:

— Завтра, как стемнеет, приходите на постоялый двор, к Маше. Петр Григорьевич просил.

Закир подошел к нарам. Сестренка спала. Вот уже целую неделю он не видел ее.

— Не тревожься,— сказал Нигмет-агай.— Девчушка ухожена: Шамсия, как мать, досматривает.

Закир достал из кармана жестяную коробочку с леденцами:

— Дайте ребятам, а я как-нибудь днем загляну...

Маша жила в маленькой каморке бревенчатого придела. Когда Нигмет пришел, у Маши уже были Закир, Баруздин и какой-то незнакомый человек.

— Познакомьтесь, Иван Федорович,— обратился к приезжему Баруздин.— Нигмет Ахметшин. Рабочий с алепатовского. Можете во всем полагаться: человек свой.

Незнакомец поднялся. Он был высокого роста, седой, но на лицо моложавый.

— З-здравствуйте, т-товарищ Ахметшин.— Он крепко пожал руку Нигмету.

И в его чуть заикающемся голосе, и в жестах, и в манере держаться было что-то мучительно знакомое. «А-а,— вспомнил Нигмет,— да это же господин маркшейдер! Горный инженер!»

— Извиняйте...— несмело сказал Нигмет.— Думаю, не обознался: вы Иван Федорович Золотарев будете?

Брови приезжего удивленно взлетели на лоб.

— А откуда вы меня знаете?

— Я же был вашим подручным, господин маркшейдер! Ваши инструменты носил в колчеданных шахтах на Урале. Помните обвал?

— Как же, как же! — воскликнул Золотарев.— Двадцать девять человек заживо похоронило. И моего брата.

— А у меня отца...

Они помолчали, каждый думал о чем-то своем.

— Да-а,— протянул Нигмет,— и вправду ваша русская пословица говорит: гора с горой не сходится, а человек с человеком могут встретиться, господин маркшейдер.

Золотарев улыбнулся, но вдруг закашлялся. На его бледном лице вспыхнули лихорадочные пятна. Отдышался, сказал:

— Давно уж, товарищ Ахметшин, я не господин. Двадцать лет каторги отбыл. Вот седины, чахотку нажил. Ну, а...— Золотарев снова улыбнулся,— помирать, признаться, не хочется. Рабочий класс на большое дело поднимается.

...Разошлись перед рассветом. Было решено готовиться к забастовке. Закир получил задание установить связь с нужными людьми на лесопилке и с кирпичного завода. А как только будут готовы листовки об убийстве Хакима Аллаярова, распространить их в городе и слободах. А Нигмет-агай отправится в окрестные деревни за «овчинными отходами» и тоже расскажет там о Хакиме.

Закир крутился как белка в колесе. Надо было срочно увидеть Машу, а он не может отлучиться из своей землянки: вот-вот вернется с обозом Самат-агай, забежит Нурулла с пакетом из Уфы. Что, если послать к Маше Шамсию? Девочка сообразительная, справится.

Закир подготовил все, что было нужно, и побежал к дяде. Едва он переступил порог, как соскучившиеся ребята со всех ног бросились к нему. Закир подхватил сестренку на руки.

— Ну как живем, дочь великого хана?

— Якши-й [1],— протянула Зульфия, посасывая леденец.

— Ну, а ты, Салават Юлаев?

Салих лишь ухмыльнулся в ответ: любит, когда называют его Салаватом. Да еще сам Закир!

— Шамсия! — сказал Закир.— Не сходишь ли на базар? Мука у меня вся вышла. И жмыха надо купить. А с Зульфией побудет Салих. Посидишь?

Салих не сразу согласился — он собирался с Федькой на рыбалку,— но все же кивнул.

— А потом зайдешь ко мне: дело одно есть... Пойдем, Шамсия, я дам тебе сумку и деньги.

В землянке Закир сказал:

— Не на базар — по другому делу позвал я тебя, Шамсия. Надо сходить в Верхние Выселки. На постоялый двор. К Маше. А вначале зайдешь к ее тетке. Скажешь: «Грязного белья пока нет. Можно ли принести чистое — поштопать?» Если ответит: «Можно», спроси: «Сколько пар?» И хорошенько запомни ее слова.

Шамсия кивнула.

— А Маше передашь от головной боли вот это.— Закир протянул Шамсие маленький сверточек.

---

[1] Якши — хорошо.

„ОТРЕЧЕМСЯ ОТ СТАРОГО МИРА!..“

Наступила зима...

В доме творилось что-то непонятное. Газиза-апа ходила озабоченной, словно что-то потеряла. Нигмет-агай придет с работы, наскоро поест салмы и опять куда-то уходит.

Часто по ночам забегал Закир. А однажды пришла даже Маша. О чем она шепталась с отцом, Салих не разобрал. Но хорошо слышал, как Маша говорила матери:

— Не тревожьтесь, Газиза-апа. Все будет хорошо.

Потом Маша подошла к нарам, что-то шепнула на ухо Шамсие.

Утром Салих, сгорая от любопытства, дернул сестру за рукав:

— Чего она тебе говорила?

— В гости приглашала! — не моргнув глазом, ответила Шамсия.— Елка у них на постоялом дворе на рождество будет: гостинцы тетка Анфиса обещала.

— Держи карман шире! Позовет тебя тетка Анфиса! — сердито буркнул Салих.— Ври больше!

Шамсия лишь улыбнулась: дело твое, хочешь — верь, хочешь — нет, а больше того, что сказала, от меня не жди.

Салих надулся. «Надо бы поговорить с Федькой, да вон на улице, как шайтан хвостом, метет пурга. Ладно, как-нибудь дотерплю до завтра...»

А назавтра Федька сам стрелой прилетел к Салиху. В башлыке, в шубейке, подпоясанной веревкой. Запыхался, едва выговаривает:

— Айда в город! На заводе у Алепатовых рабочие бунт объявили! С флагами на базар пошли. Мамка сейчас из города пришла... Собирайся, а я сгоняю за Гошкой. А потом зайдем за Санькой и Талгатом...

Салих сунул ноги в валенки. Да впопыхах правая попала в левый — и наоборот. Шайтан попутал! Салих в сердцах хватил валенком о чурбак. Накинул бешмет, нахлобучил круглую отцову шапку, обмотал мешковиной шею, схватил овчинные рукавицы и вылетел на улицу...

Базарная площадь кишела народом. А люди все подходили и подходили. Вслед за алепатовскими кожевенниками пришли рабочие с мельницы, маслобойки, лесопилки, с кирпичного завода, мыловаренного. Подходили виноделы и пивовары с Левашевки. Бежали люди из Верхних и Нижних Выселок, из Тау-баши. Подъезжали на санях из окрестных сел мужики...

Ребята, где скача по возам, где проползая под брюхами лошадей, пробрались к торговым рядам.

Был базарный день, а на всех лавках почему-то висели замки. Только двери мануфактурного магазина были распахнуты настежь. Оттуда в толпу летели аршинные куски кумача. Люди хватали материю, рвали на ленты, и кто прикреплял бантом к петлице, кто обвязывал рукав или шапку.

Со ступенек магазина несколько человек разбрасывали листовки. Салих узнал дядю Петро, Закира, Машу. Рядом с ними какой-то высокий дядька в белом полушубке. А вон из магазина вышел отец.

Люди хватали листовки, прятали их в карман или за пазуху. Некоторые тут же читали. Слышались возбужденные голоса:

— В Петербурге в рабочих стреляли!

— Кто сказал?

— Да вот, читай... Сам царь приказал!

Из магазина вынесли стол. На него вскочил дядька в белом полушубке, сорвал с головы шапку:

— Т-товарищи! Девятого января в Петербурге п-пролилась кровь. Доведенные до отчаяния рабочие пошли к царю с петицией п-просить защиты. Они несли иконы и хоругви. Шли с детьми и женами. Но царь приказал стрелять в них. Т-тысячи рабочих, их жены и дети убиты и ранены...— Дядька немного заикался, кашлял.— Рабочий класс не может ждать милости ни от царя, ни от фабрикантов. Только собственной рукой он разобьет кандалы рабства и сбросит ярмо эксплуатации...

После него на стол вскочил дядя Петро.

— Товарищи! Чаша нашего терпения переполнена. Мы пришли сюда, чтобы заявить: довольно глумиться над трудовым человеком!.. В бараке Алепатова рабочие живут хуже скота. Спят вповалку, едят отбросы... Мы

требуем от хозяев — сократить рабочий день! Повысить зарплату! Покончить с произволом!..

— Правильно-о!..

— Всю кровь высосали!

— Детей голодом морят... Калеками делают! По миру слепыми пускают!

— Ишь попрятались: замки повесили на лавки! Пошли на завод, пусть знают мироеды: лопнуло наше терпение!

— К Алепатову! Он ответит нам, зверь, за Хакима Аллаярова!

Толпа двинулась к заводу. Над головами взмыли кумачовые флаги.

— Айда! — крикнул своим Федька, раскрасневшийся, взъерошенный, как весенний воробей.

Ребята обогнули торговые ряды, проскользнули между лабазами и переулком выбежали на улицу, по которой двигалась толпа.

Салих увидел Закира. Он шел впереди. С ним Маша. Чуть позади — отец, дядя Петро и тот, высокий, в белом полушубке. Толпа на ходу построилась в шеренги.

Человек в белом полушубке запел:

Отречемся от старого ми-ра!
Отряхнем его прах с наших ног!..

Салих подбежал к Закиру. Закир взял его за руку, Маша за другую.

Мы пойдем к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем... —

пели Закир и Маша.

С ним пошлем мы злодеям проклятья,
На борьбу мы его позовем...

И сотни голосов дружно подхватили:

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на врагов, люд голодный!..

Всходило солнце.

На круче, над рекой, взявшись за руки, стояли девушка — сероглазая, с золотыми прядками в русой косе, и



...Дядька в белом полушубке... сорвал с головы шапку.

юноша — высокий, статный, со смуглым лицом и густыми бровями. Перед ними лежал внизу город, расстилалась степь. Красовалась в своем весеннем убранстве Юрэк-тау — гора-девушка. А вдали возвышался ее верный друг Шихан-тау — гора-джигит.

Джигит протянул своей любимой семицветный шарф из радуги. Но Илькенэй не замечала подарка: было еще рано, и она спала.

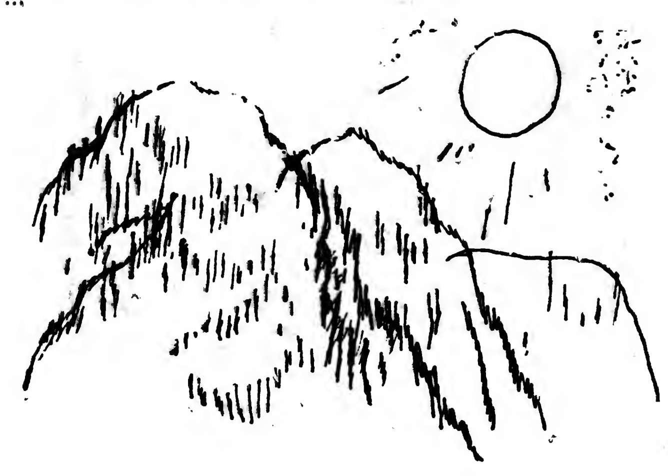
— Проснется ли? — спросила девушка.

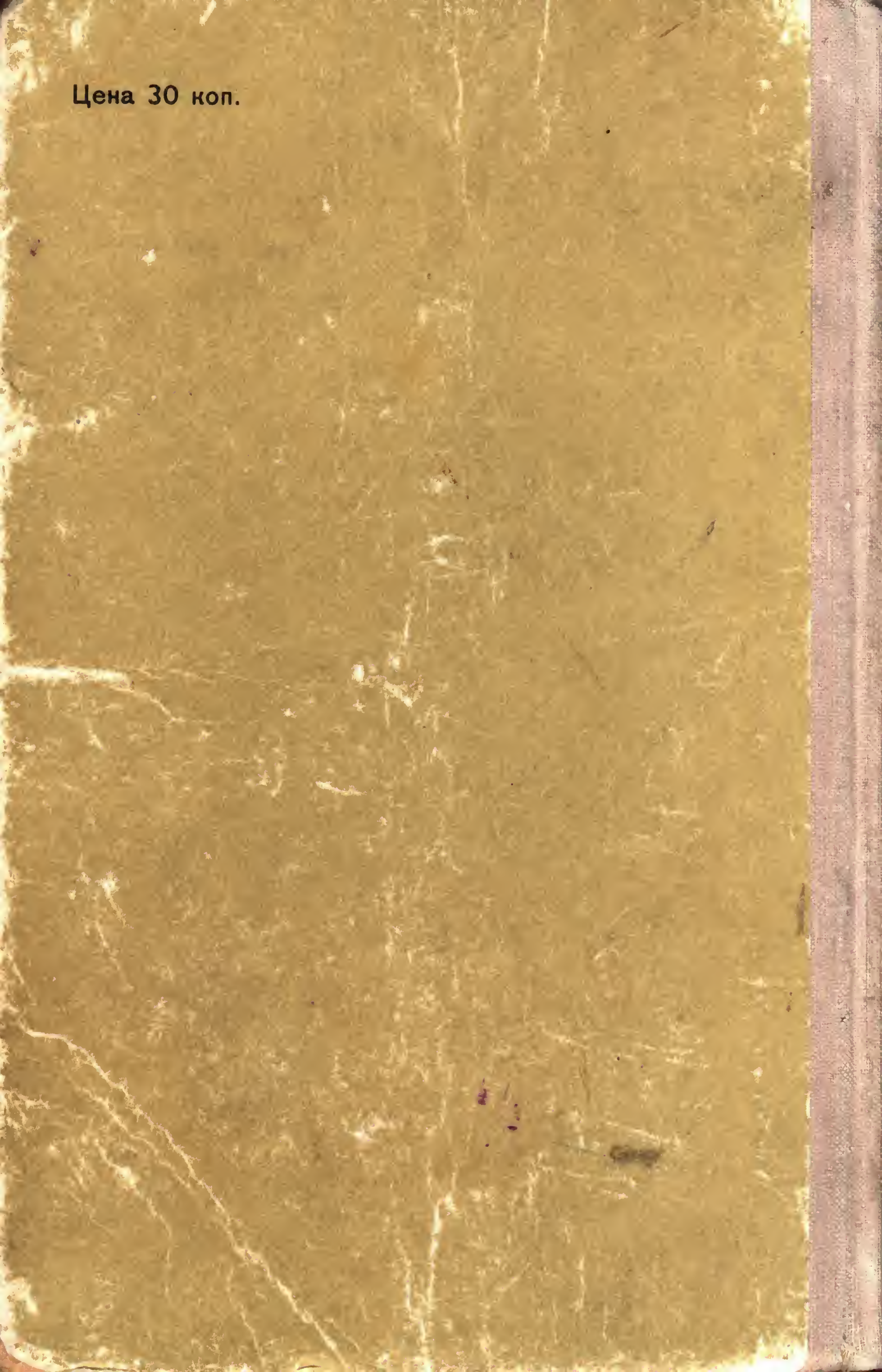
— Обязательно проснется! — уверенно сказал юноша.— Мы разбудим ее. Помнишь митинг на базарной площади? (Девушка кивнула.) Это был только вздох Илькенэй перед пробуждением. Но мне уже кажется, я слышу ее голос... Слушай!

...И взойдет за кровавой зарею
Солнце правды и братства людей.
Купим мир мы последней борьбою,
Купим кровью мы счастье детей.
И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в одно все народы
В вольном царстве святого труда...

Ты слышишь? — спросил юноша.

— Да, слышу,— кивнула девушка.— Я все, все слышу...




Цена 30 коп.

